

Лезвие бритвы

Автор:

Иван Ефремов

Лезвие бритвы

Иван Антонович Ефремов

«Лезвие бритвы» – знаковое произведение писателя, отличающееся невероятной многоплановостью. Это и захватывающий приключенческий роман с несколькими сюжетными линиями, объединенными тайной легендарной черной короны Александра Македонского, и научная фантастика, наполненная фактическим материалом, теоретическими положениями и гипотезами и, главным образом, тонкий, как лезвие бритвы, философский трактат о духовном могуществе человека, торжестве разума, поисках красоты и любви.

Иван Ефремов

Лезвие бритвы

Пролог

Все быстрее нарастает познание в современном мире. Обрисовывается точнейшая взаимосвязь, обусловленность кажущихся различными явлений мира и жизни. Всеобщее переплетение отдаленных случайностей, вырастающее в необходимость, то есть в законы природы, пожалуй, самое важное прозрение современного человека.

И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившиеся сцепления обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или другие случайности, вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой попавшие в ее орбиту человеческие жизни. Мы, не зная достаточно глубоко причинную связь, не понимая истинных мотивов, называем это судьбой.

Если проследить всю цепь, а затем распутать начальные ее нити, можно прийти к некоему отправному моменту, послужившему как бы спусковым крючком или замыкающей кнопкой. Отсюда начинается долгий ряд событий, неизбежно долженствующих сблизить совершенно чужих людей, живущих в разных местах нашей планеты, и заставить их действовать совместно, враждуя или дружа, любя или ненавидя, в общих исканиях одной и той же цели.

5 марта 1916 года в Петрограде, на Морской, открылась выставка известного художника и ювелира, собирателя самоцветных сокровищ Урала Алексея Козьмича Денисова-Уральского.

Еще внизу, в гардеробной, где сутились, угодливо кланяясь, слуги, веяло слабым ароматом французских духов и проплывали, шелестя тугими платьями, дамы, можно было заключить, что выставка пользуется успехом. «Речь» и «Петроградские ведомости» одобрили «патриотическое художество», посещение выставки стало считаться в столичном «свете» тоже патриотичным.

Низкие залы казались пустоватыми и неуютными в тусклом свете пасмурного петроградского дня. В центре каждой комнаты стояли одна-две стеклянные витрины с небольшими скульптурными группами, вырезанными из лучших уральских самоцветов. Камни излучали собственный свет, независимый от капризов погоды и темноты человеческого жилья.

Худощавый молодой инженер в парадном сюртуке так глубоко задумался у одной из витрин, что только прикосновение к плечу заставило его обернуться, встретить приветливой улыбкой крупного человека с острой бородкой, щегольски одетого.

– Ивернев, – зову, Максимильян Федорович, – зову, не откликается. Горняцкое сердце взыграло от камней? И где это Алексей Козьмич такие откапывает?

– Собирались сотней людей и десятками лет, – возразил инженер на последний вопрос. – Хороши, в самом деле... Но вот я стоял и думал...

– Ага! Не стоило такие камни и такое умение на пустяки тратить!

Молодой инженер восторгнулся.

– Как вы правы, Эдуард Эдуардович! Да пойдемте посмотрим еще раз.

Они обошли выставку, ненадолго задержавшись у каждой из скульптурных групп-миниатюр, как назвал их сам художник. Белый медведь из лунного камня, редкого по красоте, сидел на льдине из селенита, как бы защищая трехцветное знамя из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора, а аметистовые волны плескались у края льдов. Две свиньи с человеческими лицами из розового орлеца на подставке из бархатно-зеленого оникса – император Австро-Венгрии Франц Иосиф и султан турецкий Абдул Гамид – везли телегу с вороном из черного шерла, в немецкой каске с острой пикой. У ворона были знаменитые усы Вильгельма Второго – торчком вверх.

Дальше британский лев золотисто-желтого кошачьего глаза; стройная фигурка девушки – Франции, исполненная из удивительно подобранных оттенков амазонита и яшмы; государственный русский орел из горного хрусталя, отделанный золотом, с крупными изумрудами вместо глаз... И опять – Козьма Крючков со знаменитой пикой и насаженными на нее немцами из змеевика на подставке из редкостного малахита небывало густого цвета, толстый султан-свинья из полированного мориона, улепетывающий от топазового английского единорога на берегу Черного моря – широкой пластины из гематита (красного железняка), кровавый отлив в отшлифованной черноте которого как бы напоминал о льющейся в Дарданеллах крови...

Искусство художника-камнереза было поразительно. Не меньше восхищало редкостное качество камней, из которых были выполнены фигурки. Но вместе с тем становилось обидно, что такое искусство и материал потрачены на дешевые карикатуры, годные для газетенки-однодневки, «недопрочитанной, недораскрытой».

– Довольно, пожалуй, – вздохнул инженер Ивернев.

– Довольно, – согласился его спутник, известный геолог Анерт, и повел рукой по направлению к дальней стене, где висели картины – модели уральских горных разработок. Гипсовые барельефы, отделанные натуральными породами, показывали в разрезе шахты и пещерки с согбенными черными фигурками горщиков – искателей самоцветов.

В витринах-столиках, расставленных вдоль стен и окон, сверкала нетронутая природная красота: сростки хрусталя, друзы аметиста, щетки и солнца турмалина, натеки малахита и пестрые отломы еврейского камня...

– Видите, Максимильян Федорович, – Анерт кивнул на беленького мальчишку лет восьми, с круглой белой головенкой и огромными голубыми глазами, зачарованно уставившегося на витрину с горками, – вот где оно, настоящее, что и младенцу понятно...

Горки, издавна прославившие екатеринбургских мастеров, особенно хорошо удавались Денисову-Уральскому и шли нарасхват, так же как и его коллекции уральских камней в больших и малых ящиках с клеточками-гнездами.

Горка – особый способ экспозиции камней, теперь незаслуженно забытый, но очень распространенный в начале века. Различные куски красивых горных пород склеиваются так, что образуют модель заостренной скалы с глубокой пещеркой у подножия, иногда несколькими. Игольчатые кристаллы берилла, турмалина, а то и просто наколотые столбики отдельностей гипса-селенита изображают сталактиты в сводах пещерок. В глубине сверкают щетки мелких кристалликов горного хрусталя, аметиста, топаза или синего корунда. Уступы «скалы» украшены искусным подбором полированных кусочков агата, малахита, азурита, красного железняка, амазонита. Кое-где клеены черные зеркальца биотита, а в стенках «пещер» блестят, подсвечивая, прозрачные камни, листочки белой слюды – мусковита или цинвальдита.

Именно у такой горки, самой богатой по количеству минералов, и застыл зачарованный мальчишка.

– Как тебя зовут? – погладил круглую головенку Ивернев. Мальчик нехотя поднял взгляд.

– Ваня. А что?

– Нравится горка?

– Угу!

– А что еще понравилось?

– Вот, – мальчик ткнул в штUFF, добытый безвестным мастером невесть из какой ямы в Ильменских горах, – плоский кусок желтого зернистого кварца с мельчайшими блестками слюды, по которому были разбросаны с причудливой прихотливостью короткие блестящие столбики черного турмалина, – и вот, – мальчик ринулся к другой витрине.

Рядом слышалось шуршание шелка, повеяло духами «Грезы». Инженер увидел высокую молодую даму с пышной прической пепельно-золотистых волос и такими же ясными озерами голубых глаз, как у мальчика.

– Ваня, Ваня, пойдем же, пора! Ужасно поздно! – Она поднесла к носу мальчишки браслет с крохотными часами. – Простите, господа, я должна увести сына. Он у меня чудак – не оторвешь от камней. Второй раз здесь из-за него...

– Не считайте сына чудаком, мадам, – улыбнулся Ивернев. – За необычными интересами часто кроются необычные способности. Мы по нему проверяли правильность наших собственных впечатлений.

– И не ошиблись! – склонил лысеющую голову Анерт, явно восхищенный красивой дамой.

Мать и сын удалились, а приятели продолжали лениво обходить выставку.

– Не пойти ли нам покурить? – предложил Ивернев, но Анерт остановил его жестом:

– Постойте-ка, Максимильян Федорович, что я! Когда вы вернулись из Туркестана, помните, вы рассказывали о том, что нашли камни, может быть, неизвестные науке. Вы собирались отдать их Денисову-Уральскому для огранки. И что же вышло?

– Что вышло – увидите, они тут, на выставке.

– Как же я мог просмотреть?

– А это значит, что ничего особенного не вышло.

Они подошли к высокой, столбиком, витринке, внутри которой на черном бархате сверкали готовые ювелирные изделия, сделанные по эскизам все того же неугомонного художника-камнереза.

– Вот они, – инженер показал на подвеску из четырех небольших камней, прикрепленную под кулоном из желтого топаза, такого яркого, что он был виден от входа.

В камнях, на которые показал инженер, на первый взгляд не было привлекательности. Ограненные плоской «зеркальной» гранью и заделанные в модную тогда платину, камни казались серыми, сливающимися с матовым металлом оправы и цепочки. Требовался знающий глаз, чтобы понять необыкновенность самоцвета – прозрачного и в то же время пронизанного едва заметными точками с металлическим блеском. Облако этих точек, рассеянных в прозрачной основе, придавало камню его странный серый цвет и вид как бы хрустально прозрачного металла, гармонировавшего с глухой сероватостью платины.

– Э, да это вовсе не так, – возразил Иверневу после долгого молчания Анерт. – Я тоже горный инженер и тоже любитель камня. Что до Алексея Козьмича, то он просто молодец, и вы ему многим обязаны. Он сразу понял ваш самоцвет. М-да... И что вы собираетесь с этим делать?

– Право, не знаю. Я хочу оставить их себе, но боюсь, что дорого обойдется. По глупости я заранее не договорился с Алексеем Козьмичом, а ведь, вы знаете, он купец прижимистый. Опасаюсь, что шкуру сдерет за работу... – Анерт недовольно нахмурился.

– Прижимистый сами знаете почему – ему много надо денег, да не для себя – за уральское каменное мастерство воевать. А с этим где взял, а где и погорел. Не грех и заплатить как следует, у вас жалованье не плохое? Слыхал я от Александра Павловича, что вам Минералогическое общество за отчет

о туркестанских исследованиях прочит медаль имени инженера Антипова. Наверное, и денежная премия последует.

– Все это так, – согласился Ивернев, – но... – он заколебался и выпалил: – Я женюсь, Эдуард Эдуардович!

– Вот что! Поздравляю! Спрошу на правах старшего, простите, – не наспех? По годам-то не рано... а вот война!

– В том-то и дело, что война! Скверная, долгая, никому не нужная. И моя Вера хочет на фронт, сестрой. Такая уж она. Что ж получится: я в Сибирь, она на фронт? А браком удержу! – улыбнулся инженер, но улыбка вышла какой-то неуверенной.

Анерт серьезно сказал:

– Коли так, помогай бог! Квартиру нашли?

– На Васильевском, хорошую.

– Зовите на свадьбу, Максимильян Федорович! Польщен признанием, как знаком дружбы. Однако насчет камней не ясно-с. Если не станете выкупать подвеску, значит, оставите Денисову-Уральскому? Лучше уж я куплю! Кстати, как вы назвали новый камень?

– Никак еще! Собирался описать, да сами знаете, какое сейчас время! Нам, геологам, никакого покоя с производительными силами, комиссией этой, да еще затевается кое-что на Дальнем Востоке – лучше меня знаете. Война окончится, тогда, дай бог, наукой займемся!

– Двадцать две причины, а главное – не было пороху! – усмехнулся Анерт. – Боюсь, что главная тут причина не в порохе. Шерше ля фам... Ну вот что, по старой дружбе – уважьте, раз так.

– Понимаю. С действительного статского советника Анерта Алексей Козьмич сдерет так, что все ваши проповеди о пользе камнерезного дела из головы вон! Следовательно, камни я выкупаю для вас! Вы на прежней квартире живете?

– Там же, на Троицкой, 23. А вот и сам Денисов, легок на помине!

В зал вошел известный всем любителям самоцветов Денисов-Уральский. Родом из старинной горщицкой семьи, сын шахтера Березовского рудника, уроженец Екатеринбурга, этот русский самородок был «последним выдающимся мастером каменного дела в России», как называли его газеты. Юношей оставшись без отца, он сумел обеспечить семью и приобрести известность своими «наборными картинами», то есть пейзажами, собранными из камней. В конце прошлого века Денисов-Уральский, уже известный художник по камню, учился на гроши в школе Общества поощрения художеств.

Ивернев смотрел на приближающуюся знакомую фигуру с вечно растрепанной гривой непокорных волос и клочковатой бородой, обрамлявшей староверческое высоколобое лицо художника.

«Чувство меры, подлинный вкус художника почему-то изменили нашему знаменитому камнерезу, – думал геолог. – Почему? Или с известностью, деньгами, большой дачей в Финляндии оборвалась та драгоценная связь с глубиной народного искусства, которая и дает безошибочное чутье настоящего?..»

Денисов-Уральский издалека крикнул: «Здравствуйте, Ивернев!» – и тотчас отвернулся к шедшему рядом высокому человеку, продолжая разговор.

– Кто это с ним, Эдуард Эдуардович, вы ведь петербургское, тьфу, петроградское общество знаете?

– Персона довольно значительная: князь Витгенштейн!

– Ого, архимиллионер?

– Не тот! Кузеном ему приходится. И тоже богат!

– Ну тогда обождем. Пойдемте вниз и покурим, а вечером я позвоню Алексею Козьмичу на квартиру.

– Нет, я уж пойду. Мне надо в Общество русских ориенталистов, тут по соседству, на Морской, – откланялся Анерт.

Денисов-Уральский подвел князя к той самой витрине, где искрились на бархате странные серые камни.

– Вот, ваше сиятельство, редкость невиданная, – сказал он, привычно упирая на «о», так как любил щегольнуть простонародным говорком, – других таких камней в России и, почитай, во всем мире не имеется! Найдены они тем инженером, с которым я здоровался. Он и сам не знает, что это за самоцветы, и дал мне на пробу. Еще минералогии неизвестный образец!

Князь, согнувшись, долго рассматривал платиновую подвеску и, наконец, выпрямив уставшую спину, провел рукой по подкрашенным усам.

Художник пытливо вглядывался в князя, стараясь разгадать, насколько он заинтересован, и как бы невзначай заметил:

– Вчера был здесь Летуновский, Николай Николаевич, знаете – миллионер, на Покровской у него особняк. Хотел сегодня жену привезти, ей показать.

– Я бы дал за них... – Князь Витгенштейн подумал и назвал сумму.

Охолодевшее лицо художника сказалось ему, что цена оказалась много меньше той, на которую рассчитывал Денисов-Уральский. Это был промах. Камни понравились князю. Назови он цену, близкую к правильной, художник, конечно, уступил бы, а теперь капитуляция будет с его стороны и, как всякая капитуляция, дорого обойдется побежденному.

Чтобы выгадать время, князь захотел посмотреть камни поближе. Денисов-Уральский послал за ключом, открыл витрину, и камни, подставленные свету на окне, засверкали еще ярче своей странной металлической игрой.

Под усами художника мелькнула хитрая улыбка. Князь нахмурился и, глядя в окно, сказал:

– Хорошо, я беру камни. Сейчас. Пусть принесут футляр.

Часть первая

Корни гнева

Глава 1

Анна

Ноги скользили по талому снегу. Гирин ступал по-солдатски – на всю ступню, раскидывая желтые брызги. Два месяца прошло со времени его приезда в Москву, и только теперь он может выполнить просьбу друга. Два месяца, заполненных недоумением, бесконечными вопросами и хождением «по инстанциям». «Кто вызвал? Зачем вызвал?» – так встречали его, вопрошая с подозрением, как некоего ловкача, старающегося пробиться в столицу из «провинции». Не сразу сообразил Гирин, что его демобилизация и вызов были ловким ходом в какой-то игре, сути которой он не понимал; узнал лишь, что его кандидатурой, как шахматной пешкой, заперли ход кому-то, чье возвышение по научной иерархии стало невыгодным неизвестному, обладавшему достаточной властью, чтобы оформить приглашение Гирина в Москву.

Гирин не сомневался, что разгадает все, но пока мерзкое двойное чувство – обмана и самозванства – не покидало его и мешало как следует отстаивать свои права. «Но отбросим это пока...» Гирин извлек из кармана потертое письмо – посмертную просьбу друга-скульптора, погибшего на фронте шестнадцать лет назад. Долго пришлось дожидаться и просьбе, и самому Гирину, но – военный хирург и начальник госпиталя – он не мог выбрать время.

Да вот эта улица, за стадионом «Динамо»! Гирин еще раз посмотрел на план, сделанный четкой рукой художника. Большой серый Дом художников на Масловке показался суровым. В мастерских нижнего этажа за пыльными большими окнами двигались люди. Гирин вошел в широкий подъезд и повернул от лестницы направо в коридор, загроможденный гипсовыми отливками статуй, бюстов, голов и вовсе бесформенными кусками гипса с торчащими из них

проволоками ржавого каркаса. Они неприятно напоминали Гирину обломки гипсовых повязок, кучи которых накопились в углу двора его большого госпиталя. В темном коридоре Гирин подвигался ощупью, извлекая из кармана фонарик. Первая, вторая, третья дверь... здесь! Но на двери висел продетый в кольца замок. Пришлось постучаться напротив, туда, где слышался разговор.

Маленький человек в халате, донельзя замызганном гипсом, вопросительно улыбнулся.

– Не скажете ли, как попасть в мастерскую Пронина? – спросил Гирин.

Улыбка исчезла с лица маленького человека, а его собеседник – небритый человек в очках и черном поношенном пальто – нахмурился.

– Пронин, он, знаете ли... – забубнил он.

– Знаю все, – перебил Гирин, – мне надо найти его мастерскую.

– Мастерская его занята другим скульптором... мною, – ответил человек в пальто.

– И давно?

– С пятидесятого года. Уже одиннадцать лет!

– Но как же скульптуры Пронина?

– Что ж поделать, выставили в коридор. Думали, кто возьмет из родственников, а у него их нет... или не интересуются.

– Вы сами скульптор и так спокойно об этом говорите? Ведь это варварство!

– Э, бросьте, такими вещами полна жизнь. Куда деваться? Я сам, когда вернулся, то нашел свое... там! – Художник показал в сторону двора, на котором громоздилось тоже немало обломков скульптур как памятник творческой борьбе и несбывшимся надеждам.

– Кстати, – продолжал он, – у Пронина почти ничего не было, только десяток небольших эскизов. Накануне войны он работал над единственной статуей...

– Да, да, где же она? – насторожился Гирин.

– Здесь.

– Как – здесь?

– Где же еще? Там вот, в конце коридора. Сохранилась, не отдали на дрова в войну...

– На дрова? – Даже выдержанный Гирин не мог скрыть возмущения.

– Кому она нужна! Из всех нас только Пронин упорствовал с нагой натурой. До войны было ему совсем плохо. Да и теперь в искусстве обнаженность... хм, не в моде. Натурализм, буржуазно...

– Спасибо, я все понял. С вашего разрешения посмотрю на статую. Всего хорошего!

Гирин шагнул в коридор, не обратив внимания на недоумевающие взгляды, которыми обменялись оба скульптора. Он поднял фонарик и сразу увидел у простенка за последней дверью большую деревянную статую в полтора человеческих роста. Окруженная безликим хламом изуродованных скульптур, она стояла в свободной и открытой позе, резко выделяясь живой тканью дерева среди белой слепоты гипса. Дерево потрескалось – глубокие черные трещины бороздили руку статуи и лицо справа, рассекали во всю длину левый бок и левое бедро, покрывали мелкими продольными штрихами всю фигуру. Гирин направил фонарь на лицо статуи. Она, Анна! Из глубины прошлого, через непереходимую бездну, отделявшую мертвую от живого, поднялось, ожило чувство утраты. Густая темная пыль покрывала голову и плечи статуи, будто древний знак скорби, и ее открытая обнаженность была так беззащитна здесь, в холодном углу грязного коридора, что сердце Гирина сжалось, как в те давно прошедшие годы, когда беззащитность живой и юной Анны была предметом его острой жалости.

Разряженная батарейка фонаря быстро сдавала, свет мерк, но Гирин уже освоился с темнотой коридора и сунул фонарь в карман. Пахнувший плесенью полумрак скрыл неприглядность окружающего, трещины и пыль на статуе, которая ожила в неопределенной таинственности очертаний. Лицо скульптуры в мерцающей игре теней стало лицом той Анны, которую он увидел впервые много лет назад... Мгновение – и он уже стоял в сводчатой комнате с аркадами высоких окон – кабинете его учителя профессора Медникова, в одном из многочисленных корпусов Военно-медицинской академии Ленинграда...

Девятнадцатилетний студент первого курса, он отправлялся выполнять свое первое самостоятельное исследование. Профессор, веря в его способности, поручил ему добыть образцы питьевой воды, в употреблении которой он видел причины возникновения болезни Кашин-Бека в трех селах Поволжья. Загадочная болезнь выражалась в поражении суставов ног, преимущественно коленных. В суставах исчезал хрящ, и головки костей, лишенные хрящевой прослойки, терлись друг о друга при ходьбе так, что поверхность кости делалась отполированной. Нечего и говорить, что такая ходьба была очень мучительной – и от боли, и от затрудненности движений, скрипа и хруста в коленях. Болезнь встречалась только в трех деревнях одного района, соседствовавших с селами, в которых никогда не бывало и признаков этой болезни. Селения, пораженные болезнью Кашин-Бека, были давно известны в Забайкалье, на реке Урове, но там в дополнение к ней встречалось развитие зоба – зобная болезнь, как тогда считалось, вызывавшаяся отсутствием йода в чистой воде горных речек района. Профессор Медников подозревал, что и болезнь Кашин-Бека тоже обуславливалась нехваткой каких-либо химических веществ в воде или почве. Задача Гирина заключалась в том, чтобы собрать образцы почвы с полей и воды из колодцев и речек как из пораженных болезнью деревень, так и – обязательно – из совершенно здоровых соседних сел. Путем этого сравнения профессор хотел установить недостаток какого-либо из редких элементов и получить ключ к объяснению странного заболевания.

Так студент Гирин в знойное лето 1933 года оказался на великой русской реке. Он уже сделал большую часть работы, когда в один из пасмурных дней ему понадобилось переехать на высокий правый берег Волги. Переправа через могучую реку – длинное дело, и паромщики подолгу выжидали, пока не наберется достаточно народу. Гирин, которого благодаря военной форме все считали за солдата, весело перешучивался с задорными девушками, успел и серьезно потолковать со старым паромщиком, покуривая моршанскую полукрупку, пока, наконец, обшарпанный паром отчалил от берега. Всего две телеги переезжали на правый берег, и на площадке парома было свободно.

Гирин остался на корме, рядом с паромщиком, изредка подававшим негромкую команду своим опытным помощникам. Три молодые женщины задумчиво выплевывали шелуху семечек в волжскую желтоватую воду, а девушки собрались в кучку на носу, оживленно болтая о каких-то богородских парнях, явно более авантажных, чем ребята-односельчане. Только одна девушка стояла особняком, глядя на воду. В ее позе заметно было напряженное отчуждение, и, несмотря на то что ее отделяло от подруг расстояние не более сажени, Гирин почувствовал, что это целая пропасть.

Теплый низовой ветерок нанес тучи поплотнее, поверхность реки стала оловянно-тусклой, брызнуло мелким, смахивающим на туман дождем. Правый берег расплылся в завесе дождя, стал далеким. Девушки замолчали, и даже крепкие важные молодки перестали выплевывать кожуру семечек.

– Эй, запевай! – крикнул старик паромщик. Гребцы рывкнули нечто хриплое, прокашлялись и после второй попытки умолкли окончательно.

– Позавчера престол был, – подмигнул Гирину синеглазый парень в косоворотке, – горла-то знаешь как надрали. Не можем теперь петь. Дядя Михаил, – обратился он к старшему, – с нами Нюшка Столярова переезжает. Пусть поет, перевезем бесплатно!

– А я и так ее всегда бесплатно беру, – ответил бородач, – за отца. Нюша!

На оклик старшего обернулась стоявшая отдельно девушка. Гирин увидел скользящий взгляд темных глаз, взмах ресниц и несколько вьющихся прядок золотистых волос, выбившихся из-под косынки. Лицо девушки – широковатое, с высокими скулами – нельзя было назвать красивым, но в нем было что-то выделявшее ее из всех находившихся на пароме женщин. Тревожное, почти смятенное внимание, лукавство, доброта и горечь как-то странно перемешивались на лице девушки, мгновенно сменяя друг друга. Привлекательное, но беспокойное лицо.

– Петь, что ли, тебе, дядя Михаил? – спросила девушка.

Бородач ласково кивнул.

По тому, как насторожились девушки и подняли головы похмельные гребцы, Гирин понял, что Нюша должна быть певуньей. Он не ошибся. Девушка повернулась к низовью реки, взявшись за перила парома, поставила босую и мокрую ногу на перекладину. Минута молчания, и глубокий сильный голос – настоящее меццо-сопрано – пронесся по серому туманному простору реки.

Ночь темна-темнешенька, в доме тишина...

С детства знакомые слова старинной песни о тяжелой женской доле зазвучали с трагической силой и чувством. Гирин – сам любитель музыки и неплохой по студенческим меркам певец – замер. Пожалуй, он впервые слышал столь яркое исполнение «Лучинушки». Очень шла эта грустная мелодия к бессолнечному дождливому вечеру на широкой реке, к притихшей группе людей на стареньком, усыпанном трухой сена пароме, к размеренному аккомпанементу скрипучих весел. А голос Нюши несся и звенел над Волгой:

Я ли не примерная на селе жена,

Как собака верная, мужу предана!

Яростная тоска песни невольно заставляла Гирина сжимать кулаки. Девушка умолкла, низко опустив голову, и паромщики издали дружное «Уфф!».

– Да, поет... – неопределенно ухмыльнулся синеглазый гребец. – Ну-ка, Нюша, давай еще!

– Дай отдохнуть девке, ишь ты какой, – вступился старый паромщик, – пусть-ка другие теперь поют. – Глаза его озорно блеснули, уставившись на Гирина. – Вот тут студент, товарищ будущий доктор... (Гирин увидел, как Нюша вздрогнула и подняла голову.) Неужели не сможет показать, как в столице поют?

– Я не из столицы, из Ленинграда, – поправил старика Гирин, – и до доктора мне как до неба.

– Все равно, еще того лучше – первый город, – не смутился паромщик. – Айда качай, студент!

Несколько секунд Гирин размышлял, что же спеть своим случайным попутчикам. И, отвечая внезапному желанию исполнить серьезную вещь, которая подходила бы к настроению этого вечера на реке, но не была бы полна такой отчаянной тоски, как «Лучинушка» Ньюши, Гирин запел серенаду Шуберта:

Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной...

Он пел, глядя на девушку, и замечал, как становилось строже ее лицо, а гибкая ладная фигура выпрямлялась, будто в стремлении подставить себя всю под звуки песни.

Никогда еще не пел он с таким воодушевлением, протестуя против дремучей деревенской судьбины, только недавно начавшей поворачиваться к настоящему свету.

Чувство неведомо откуда взявшейся силы помогло ему наполнить торжествующим властным призывом последние слова серенады:

И на тайное свиданье приходи скорей!

Приди, приди!..

– Эй, зазевались, ворочайся, а то придется бечевою подымать! – прервал молчание недовольный бас старшего. Гребцы начали поспешно рвать весла, и паром сошел со стрежня в тихий затончик под красными обрывами крутого берега. Еще несколько минут – и мочальные веревки были надеты на вбитые в дно колья. Гребцы потащили трапы для съезда телег.

– Здоров петь, студент! – крикнул ему синеглазый парень, как давнему знакомому. – Вот бы вас в пару с Ньюшкой-то! Приходи, завсегда перевезем без копейки, только пой!

Гирин улыбнулся паромщикам и сунул гривенник в заскорузлую руку дяди Михаила, заканчивавшего сбор денег.

– Торопишься, доктор? – проворчал старик. – Тебе, чаю, в Никольское?

– В Никольское. А может, у вас там есть кто знакомый? – спросил Гирин.

– Тебе чего, на квартиру стать? А сельсовет?

– Так мне недели на две, хочется по сговору у хороших людей.

– Постой-ка! Ньюша! – окликнул он уже спрыгнувшую на берег девушку-певунью. – Не возьмешь ли студента-то? Изба ведь большая да пустая!

Девушка залилась неожиданно темным, жарким румянцем.

– Да я бы рада... может, маме чего посоветует товарищ доктор... Только сами знаете, дядя Михаил, чем гостя-то пестовать, хозяйства нету.

Гирин не мог подавить в себе желание познакомиться с привлекательной и какой-то странной девушкой.

– Ну и что ж, – вмешался он, – разносолы мне ни к чему, а ведь молока да хлеба достанете? Если не стесню...

– Чего там, – явно обрадовалась девушка, – если только вам не покажется... ну, можно и перейти куда.

– Вот и сговорились, – довольно сказал старшой, как бы торопясь окончить дело. – Ты, доктор, ежели не торопишься, то посиди, покури со мной. Хочу еще спросить тебя насчет науки.

– Давай покурим... А как вас найти, Ньюша?

– Как по этой дороге подойдете к селу, увидите крайний дом. Село невелико, один порядок, левая сторона долгая, правая короче. И тут сразу через ложбину справа бугорок, а на нем пятистенок с резным крыльцом.

– Гляньте, девки, Ньюшка себе еще хахаля нашла! – вдруг визгливо крикнула одна из попутчиц, высокая, в темно-красном платке с цветами. – Сговаривается! Смотри, Ньюшка, будет тебе от уразовского сынка выволочка! И студенту, я чай, достанется!

Девушка повернулась как подхлестнутая и быстро пошла в гору, скользя по размокшей желтой глине и не оглядываясь.

– Что вы, как вам не стыдно! – крикнул Гирин.

– Чего там, стыдно? Гулящая она! Иль тебе лестно?

– Пошли прочь, кобылищи! – грубо приказал старик паромщик. – Только и знают страмить человека, а за что?

– Знаем за что! – хором закричали девушки и со смехом пошли по дороге.

Старик, недовольно хмурясь, отсыпал на ладонь махорки из коробки Гирина.

– Почему это они? – спросил Гирин. – Девушка какая-то очень хорошая.

– Такую не скоро найдешь. Да неладно у ней судьба сошлась. Я всю их семью знаю.

– В чем же ей не повезло? Я сразу заметил, что у нее что-то неладно.

– Ага, студент, остановила взгляд твой Нюша! Да и впрямь только слепому не заметить. Поживешь у них, может, поможешь чем, советом каким-то по лекарской части. Ладно это я удумал тебя на квартиру сосватать!

– Так...

– Не топчись, все объясняю порядком. Отец, вишь, Нюшкин – верховой волгарь, столяр, взят в дом к ейной матери. Воевал в германскую и Гражданскую, вернулся не то чтобы партийным, но сознательным и, конечно, по всем новым делам коноводом. Село это старое, богатое, кулаков много, а подкулачников и того больше – не полюбился им Павел, Нюшкин отец. Только еще разговоры о коллективизации пошли – случись тут кулацкая заварушка... – Старый паромщик нахмурился и запыхтел козьей ножкой.

– Восстание? – спросил Гирин.

– Нет, так, пальба бандитская. По ночам в окна стрелять да за кустами подкарауливать... Ну, между прочим, рассчитались и с Павлом. Вечером, как сидели Павел с женой да с Нюшкой за ужином, ворвались в избу двое с «наганами» и со страшной руганью Павла застрелили. Так мозги напрочь и вылетели. Жена Павлова, Нюшкина мать, повалилась как неживая, а Нюшка, тогда совсем девчонка, зверюкой на них бросилась. Ну, кто-то из бандюг ее двинул, не скоро в себя пришла.

– Разве никто выстрелов не слышал?

– Дом у них, сам увидишь, на краю села. А ежели кто и слышал, так ведь боятся, всяк о своей шкуре.

– И что же дальше?

– На том все и кончилось. Нюшкина мать с той поры не встает, не говорит, мычит только. Руки-ноги совсем отнялись. И Нюшка при ней как прикованная – куда денешься от родной матери? Дом хороший, хозяйство – все пошло прахом. Что девка одна-одинешенька-то сделает? Бьется как рыба об лед, батрачит, стирает, огородом малым пробавляется.

– А в колхозе что?

– Да вишь ли как, – паромщик грубо выругался, – повернулось дело, что вроде в драке, по пьяному делу Павла стукнули. Это у нас завсегда – чуть что, надо закон обойти, на пьянство валят. А я бы их, этих пьяных, еще того хлестче, – плюнул старик. – Словом, не было никакого вспомоществования, разве кто из добрых людей от своего куска отделит. Так ведь Нюшка гордая, не от каждого возьмет. Вот и сошлась жизнь девке клином, и нет вызволения!

– А почему ее гулящей зовут?

– Сам рассуди, коли понятие имеешь. Девка из себя особенная, такая статья нашего брата всегда манит. Чем шкурка красивей, тем охотники хитрей! Самые что ни на есть мастера по бабьему делу гоняться начинают. А молодость зеленая, да кровь горячая, закружилась голова в ночку жаркую – и пропала девка, пошла в любовницы. Тут уж все, что перед ней вились да стелились, в зверей оборотятся, рыло свое покажут. А уж бабье-то, не дай бог, так страмят,

ну прямо в гроб загонят безо всякой жалости! Завидки их, что ль, берут на красоту да на смелость, не пойму, чего так нещадны, тож ведь молодые. Парень-то, что Ньюшку окрутил, красив как сокол, а душой – змея, подкулачник раскудрявый. Не только жениться, даже никак от сраму прикрыть не хочет. Болтают на селе, что проиграл он Ньюшку своему приятелю, что теперь она с тем путается, да не верю я! А бабы остервенелись просто. И живет девка бедная как в аду за свое доверчивое сердце, за доброту и красоту. Тьфу!

Старик расстроился и отмолчался на другие вопросы, которые попытался ему задать Гирин. Отсыпав паромщику полюбившейся ему махорки, студент взвалил на плечо свой чемодан и зашагал по подсохшей дороге, поднимаясь наискось на высокий берег.

Из тени обрывов Гирин вышел на простор полей, где тусклый свет заката прорвался сквозь ровную пелену туч и оживил красноватым отливом длинные лужицы в дорожных колеях и мокрую, свежевывмытую листву мелких, корявых, как кустики, дубков. Большая белая церковь с граненым, недавно подкрашенным куполом тяжело осела на вершине холма, вдоль подножия которого протянулось село. Большие избы с высокими крытыми крылечками, несколько железных крыш и каменные амбары свидетельствовали о крепкой жизни местных хозяев, а выкрашенная в синий цвет большая лавка на каменной подклети надменно выпятилась из общего порядка домов, недалеко от церковной площади. Гирин сразу увидел дом Анны, она точно описала его. Давно не крашенный, серый, как большинство старых деревянных строений, дом тем не менее носил следы хорошей хозяйской руки. Резные наличники рам, резное, с фантазией, крыльцо с крепкой дверью, открывающейся не прямо в сени, а в длинную крытую галерею вдоль двора, – погибший отец Анны строил хорошо и красиво. Но хотя с его смерти прошло не так много лет, крыша уже подалась, ворота покривились, и забор жалобился плохо пригнанными случайными кусками досок и жердей. Гирин оскреб грязные сапоги, постучался и тотчас же услышал быстрый топоток босых ног. По тому, как широко распахнулась дверь и как просияло грустное лицо девушки, Гирин понял, что явился желанным гостем, и тут же обещал себе помочь ей как сумеет.

– Только-только успела прибраться, – слегка задыхаясь, сказала Анна и открыла дверь в довольно большую горницу, с широкой деревянной кроватью в ближнем углу, с чистым некрашеным столом и лавками.

Всю правую стену заклеивали плакаты из «Окон РОСТА» и агитплакаты Гражданской войны: суровые красноармейцы, могучие рабочие с огромными молотами, толстопузые буржуи во фраках и блестящих цилиндрах, кулаки, попы.

– Тихо у нас тут, – как бы извиняясь, сказала девушка.

– И очень хорошо, мне ведь заниматься надо! – сказал Гирин, ставя с решительным видом чемодан на лавку.

– Пойдемте, покажу, где что, – по-прежнему застенчиво и негромко позвала Анна.

Они вышли в задние сени, где Гирина ждал большой, доверху полный глиняный рукомойник.

– Сюда вот, – Анна открыла разбухшую дверь в просторную кухню с русской печкой. – Мама здесь помещается, а я – налево, в запечной комнатке.

Гирин сразу почувствовал тяжелый запах помещения, в котором находится долго не встающий больной. Он зашел в кухню и поклонился еще не старой, страшно бледной и худой женщине, недвижно прислонившейся к груде подушек на покрытой пестрым лоскутным одеялом постели. Ее напряженные умные глаза, такие же, как у Анны, осмотрели Гирина внимательно и сурово, постепенно теплея.

...Со скрипом раскрылась дверь за спиной Гирина, и полутемный коридор осветился. Из студии вышли те двое. Скульптор в пальто пробормотал:

– Гость еще здесь. Созерцает! Значит, хороша!

– Проваливайте! – резко ответил ему Гирин, раздосадованный и помехой, и собственной несдержанностью.

Тот, язвительно прокричав что-то об интеллигентности и воспитании, скрылся. Нарушилась стройная цепь воспоминаний. Гирин быстро вышел из мрачного коридора, решив во что бы то ни стало найти для статуи Анны достойное

пристанище. Гирин представил себе свою еще совсем пустую комнату, с походной койкой и небогатым скарбом, с огромной статуей под самый потолок, и даже развеселился. До приема, назначенного ему в институте, оставалось еще много времени. Гирин прошел двором к стадиону «Динамо», обогнул его и вышел на бульвар Ленинградского шоссе. Здесь, найдя обсохшую скамейку, он сел и, никем не тревожимый, унесся снова к дням далекой молодости...

Устроившись в доме Анны, он занялся исследованиями, заполняя герметические склянки водой и землей и тщательно упаковывая их в небольшие почтовые ящики.

Оставалось время и для неторопливых одиноких прогулок вдоль высокого берега Волги, и на кое-какую мужскую помощь Анне по дому. Покосившиеся ворота выпрямились, ступени заднего крыльца белели свежим деревом новых досок, а протекавшая над кухней и над сеновалом крыша теперь могла выдержать осенние дожди.

Однажды ночью Гирин был разбужен неясным шумом. Спросонок он подумал, не плохо ли с больной, и прислушался.

Затрещала дверь, два мужских голоса тихо забормотали угрозы, перебивая друг друга. Снова молчаливая борьба, и Гирин услышал задыхающийся гневный шепот Анны:

– Уйди, не хочу... зверь... Мать услышит, ее хоть не мучь!

– Что твоя мать – чурбак с глазами! – забубнил нарочито гнусавый голос. – Будет кобениться...

– Пользуешься, что мать больная, ух ты, подлюга! Ой!

Дверь в комнатушку Анны раскрылась и захлопнулась. Один из пришельцев удалился, нагло топоча сапогами. Гирин стоял в нерешительности, загоровшись яростным желанием дать бой негодьям и боясь вмешаться в неизвестные ему отношения. Но когда он начал размышлять о тяжелой трагедии Анны, его невмешательство показалось ему постыдным. Он лежал без сна, жалея

о том, что, несмотря на свой рост и большую силу, он все же лишь неопытный мальчишка. И так захотелось ему быть суровым и бородатым вроде паромщика. Тогда он был бы уверен, что не уступит девушку ее нелепой судьбе.

Гирин заснул лишь под утро и поднялся, когда солнце уже высоко стояло над кустами вырубki, почти вплотную подхoдившей под его окна. Анна принесла ему обычный завтрак: холодного молока, яиц, хлеба. Она низко повязалась платком и ходила, опустив прикрытые ресницами глаза. Взгляд, брошенный украдкой, и зардевшиеся щеки Анны показали Гирину, что ее мучает стыд. Нет, Анна отнюдь не походила на счастливую возлюбленную, и Гирин решил как-то действовать.

Весь день, обходя очередные поля, колодцы и родники, он думал, как выволить Анну из ее жестокой кабалы. Ключ к решению вопроса заключался в болезни матери – Анна не могла расстаться с парализованной ни при каких условиях. Взять с собой в Ленинград Анну с больной матерью было не под силу одинокому студенту.

Значит, прежде всего надо было или устроить мать Анны в хорошую больницу, или... вылечить ее. И тут, возобновляя в памяти все, что было ему известно о лечении психических параличей, Гирин вспомнил некогда прогремевший на весь Ленинград опыт профессора Аствацатурова. Выдающийся невропатолог, начальник нервной клиники Военно-медицинской академии, прозванной студентами «Дантовым адом» за скопление устрашающе искалеченных нервными повреждениями больных, принял привезенную откуда-то из провинции женщину, пораженную психическим параличом после внезапной смерти ребенка. Как раз таким же параличом, как мать Анны, то есть она могла слышать, видеть, но была не в состоянии говорить и двигаться. Знаменитый Аствацатуров оставался для той женщины последней надеждой – все усилия лечивших ее врачей были безрезультатными.

Аствацатуров целую неделю думал, намеренно не встречаясь с больной, пока не пришел к смелому и оригинальному решению.

После долгого и напряженного ожидания больная была извещена, что сегодня ее примет «сам». Помещенная в отдельную палату, в кресло, прямо против двери, парализованная женщина была вне себя от волнения. Ассистенты профессора объявили ей, чтобы она ждала, смотря на вот эту дверь, «сейчас сюда войдет» сам» Аствацатуров и, конечно, без всякого сомнения, вылечит ее.

Прошло четверть часа, полчаса, ожидание становилось все напряженнее и томительнее. Наконец с шумом распахнулась дверь, и Аствацатуров, громадного роста, казавшийся еще больше в своем белом халате и белой шапочке на черных с проседью кудрях, с огромными горящими глазами на красивом орлином лице, ворвался в комнату, быстро подошел к женщине и страшным голосом закричал: «Встать!»

Больная встала, сделала шаг, упала... но паралич прекратился. Так ленинградский профессор совершил мгновенное исцеление не хуже библейского пророка. Он использовал ту же гигантскую силу психики, почти религиозную веру в чудо.

Как бы сделать что-то подобное в отношении матери Анны – ведь психические параличи могут быть вылечены именно таким сильнейшим нервным потрясением. Но как заставить женщину, уже несколько лет живущую в безысходном отчаянии, придавленную еще трагедией дочери, не понимать которую она не могла, – как заставить ее поверить в мальчишку-студента, хотя бы и приехавшего из такого «ученого» города? Нет, способ Аствацатурова не годится, а что же он, Гирин, может придумать?..

Прошло два дня, и Гирин (он теперь старался заснуть не сразу, а лежал в темноте, чутко вслушиваясь в ночную тишину) вновь вскочил от воровской возни с дверью со двора. Настойчиво пытались отодвинуть деревянную щеколду. Гирин выскочил в сени в тот момент, когда дверь распахнулась и неясная тень возникла на пороге у входа в комнату Анны.

– Стой, застрелю! – тихо и спокойно, сжав зубы, сказал Гирин.

– Но-но, ты чего? – забормотала фигура, опасливо вытянув вперед шею.

– Пшел, убью! – рявкнул Гирин, поднимая зажатый в руке коленчатый шприц.

Темная фигура опрометью бросилась в темноту двора, кто-то упал, охнул.

Анна вышла из своей комнаты с зажженной спичкой, увидела Гирина: еще дрожа от возбуждения, он накрепко запирает дверь. За две-три секунды света Гирин прочел такую благодарность в ее встревоженном и восхищенном взгляде, что и впрямь почувствовал себя героем.

– Спасибо, родной, – громко сказала Анна. Гирин пробормотал что-то.

– Надо поглядеть на маму, – продолжала девушка, жестом предлагая Гирину следовать за ней.

Они вошли в кухню, освещенную крохотной лампадкой – у больной огонь горел всю ночь, – и сразу же встретились с широко раскрытыми глазами парализованной. Безусловно, она знала все – при виде вошедших ненависть в ее взгляде сменилась торжеством. Анна стала поправлять подушки, шепча что-то матери. Гирин почувствовал себя лишним, поклонился, понял, что сделал это как-то глупо, по-городскому, и, смутившись, вышел. Внезапная догадка, еще невнятная, едва-едва намечающаяся, пришла ему на ум при виде глаз матери Анны. Она не исчезла, а оформилась, когда он лежал на постели и глядел на звезды в верхних стеклышках маленьких окон.

Веры в могущество его, Гирина, веры в исцеление не было у матери Анны. Но другая, могучая эмоция могла, пожалуй, произвести необходимое потрясение – сила ненависти. Ненависти к тем, кто убил ее мужа, так ужасно искалечил ее собственную жизнь и теперь еще издевался над молодостью и чистотой ее дочери. Да, это была реальная надежда! И единственная попытка излечения должна быть обставлена со всей возможной тщательностью!

Выдался серенький день. Гирин шагал вдоль высокого берега Волги, направляясь в дальнюю деревню – последнюю, которую ему оставалось обследовать на правом берегу. Ветер уныло шелестел поспевающим овсом, широкими разливами клоня его метельчатые верхушки. Не успел Гирин отойти с полверсты от села, как впереди него, на дороге, из кустов на бровке обрыва возникли две мужские фигуры. Сердце Гирина забилося – подходил момент расплаты за ночное геройство. Твердо решив не уступать, он неторопливо приблизился к ожидавшим, сунул руку в правый карман и остановился. По светлым кудрям, прикрытым зачем-то каракулевой кубанкой, Гирин определил обольстителя Анны, действительно красивого человека с наглым взглядом выпуклых голубых глаз. Другой, пониже ростом и поплотнее, с зоркими медвежьими глазками, не выделялся ничем, кроме одежды – пиджака из отличного шевиота, надетого на нарядную рубашку, и таких же галифе, заправленных в сапоги, лучше которых не носил и начальник Военно-медицинской академии.

Оба неприятеля медлили, обменявшись быстрыми фразами, не расслышанными Гириным. Они, не отрываясь, смотрели на его засунутую в карман правую руку, и тут Гирин сообразил. Его враги уверены в том, что у него есть оружие. В самом деле, военная форма Гирина и его непонятные занятия, вероятно, делали его загадочным, а следовательно, и опасным для недобрых людей. Студент – а вроде военный, доктор – а ходит по деревням, ищет колодцы и родники... Он решительно шагнул вперед, сделав жест, как бы сметающий с дороги. Оба парня неохотно отошли на обочину, и Гирин прошел мимо, следя уголком глаза за врагами.

– Эй ты, студент, али красноармеец, али кто еще! – окликнул его кудрявый красавец. Гирин остановился.

– Ты вот что, – с деланым миролюбием и угрозой продолжал парень, – в наши дела не мешайся и с девкой гляди не схлестнись. Дело твое чужое, прохожее, дак кончай его и – айда! А не то...

– А не то? – Гирин взглянул ему прямо в лицо, чувствуя боевую злобу, возникающую у доброго человека, когда он сталкивается с темной силой людского зверства.

– Отделаем по-свойски, – оскалился приземистый в богатой одежде, – так что в этом году не придется, пожалуй, за чужими девками бегать!

– Последнее тебе слово, – перебил кудряш, – а не так – пеняй на себя. Нас тут много, да ночи темные наступают – не поможет и «наган» твой.

Гирин не спеша пошел по дороге, раздумывая над встречей. Даже если бы у него был «наган», то все равно в любом месте, за любым кустом, у колодца или на дороге его могла подкараулить лихая засада, оглушить чем попало и если не убить, то отделать так, что прощай все планы спасения Анны и скорого возвращения к занятиям. Гирин чувствовал, что помощь Анне сделалась ближайшей целью его существования, и он не мог ни под какими угрозами отказаться от нее. Однако было бы неумно не отдавать себе отчета в явной опасности.

Гирин в размышлении отошел уже на две версты от села, как вдруг повернул и зашагал обратно. Не без труда разыскал он вожака немногих сельских

комсомольцев, угрюмого, озабоченного парня, усердно подшивавшего старую седелку. Парень неодобрительно выслушал Гирина, свернул сигарку, затянулся, сплюнул под ноги.

– Лезешь не в свое дело, – процедил комсомолец, – али полюбилась Нюшка-то? Брось это, как друг говорю. Сама виновата, спуталась с бандитским элементом еще в двадцать девятом – туда ей и дорога! А тебе нечего башкой рисковать.

Нотка горечи прозвучала в ответе парня, и Гирин, ставший за последние дни необычайно чутким, понял. Он придвинулся ближе к комсомольцу и негромко стал выкладывать ему собственные мысли об обманутой девушке.

– И ежели ты ее любил, – внезапно сказал Гирин, – так твое дело не воротить морду, будто ты святоша какой, а помочь по-серьезному. Вырвать ее отсюда надо, а не отдавать на растерзание. Они глумились, а ты, как сукин сын, смотрел да радовался.

– Ну на это ты не налегай, полегче! – озлился парень.

– И ничего не полегче! Подумаешь, так сам поймешь... Только думай скорее.

– Дак я разве против... Только чем я али мы помочь можем? Охрану тебе выставить – разве можно? Трое нас, и так-то сами завсегда под угрозой.

– Не о том я! Разыграть надо одно представление. Нужны два «нагана» да человек надежный, постарше нас с тобой... – И Гирин протянул комсомольцу свою знаменитую махорку, объясняя, зачем требуются эти странные приготовления.

Парень, слушая, улыбался все шире, показывая крупные ровные зубы.

– Ну голова! – хлопнул он по плечу Гирина. – Вишь, не даром вас там учат, одевают да кормят. Того стоит... Айда, пошли! – Комсомолец повесил седелку на гвоздь, аккуратно убрал шилья и ремешки, подпоясался.

Они зашагали в другой конец села, где в крохотной избенке жил бывший красноармеец, член партии Гаврилов, бледный и худой, еще не вполне

оправившийся от сильной болезни. На счастье, он оказался дома и обрадовался, увидев на посетителе военную форму.

Гирин вторично изложил свой план. Гаврилов сначала хмурился, возражая, но потом расплылся в усмешке, так же как и комсомолец. Только усмешка его была недоброй, не обещавшей ничего хорошего насильникам и скрытым бандитам. Он расправил жидковатые усы и, сощутив острые глаза, повернулся к комсомольцу:

– Выходит, приезжий-то, Иван... как вас по батюшке?..

– Не надо, молод еще!

– И то, Ванюшка-то крепче тебя оказался, да и смекалистей!

– На то он и ученый.

– Лукавишь, Федька! И по роже видно, врать не можешь. Коли ежели бы да не ходил сам за Анной, скорей бы сообразил, что делать. А тут, вишь, ослеп!

– Ладно, дядя Андрей, будет уж. Порешили ведь. Значит, Иван сговаривается с Нюшкой, а завтра мы к ним туда заявляемся.

– Так-то так, – вдруг заколебался Гаврилов, – а как вдруг старуха загнется?

– Ух ты! – завопил Федор. – Тогда всех засудят. Ой, не подумали!

– Не всех – меня, – решительно возразил Гирин, – расписку дам. Сейчас написать?

– Ладно уж, там увидим. Сначала дело. Ответ потом.

– Ну, спасибо вам, прямо до земли, – облегченно вздохнул Гирин. – Получится или нет, видно будет, а за помощь и за дружбу кланяюсь.

– Чего там, тебе самому спасибо, что надоумил. Хотя... подозреваю, свою корысть имеешь, – усталился вдруг Гаврилов на покрасневшего Гирина. – Да ничего, что тут плохого! Этот, – показал бывший солдат на комсомольца, – не в счет. Ньюшку он потерял.

– Да не нужна она мне вовсе, – оправдывался парень, – на что ее, Анну, теперь!

Гирин медленно шел к дому, обдумывая предстоящий разговор с Анной. Надо было, чтобы она постаралась вспомнить обличье тех, кто убивал ее отца, и согласилась стать действующим лицом маленькой инсценировки, задуманной Гириным. Ходу логических заключений мешало что-то досадное, резанувшее его при последних словах комсомольца: «На что ее, Анну, теперь!» В этих словах заключалось все дремучее «достоинство» обойденного мужчины, горький и злой отказ от той, которая уже посмела принадлежать другому, не ему. И если этот был к тому же явная сволочь? Разве не прав Федор?..

Едва Анна поняла задуманное Гириным, как страшное волнение охватило ее. Взявшись ладонями за виски извечно девическим жестом, она затаив дыхание слушала студента и долго старалась вспомнить лицо убийц отца. Она не сумела точно описать их – при тусклом свете пятилинейки негодяи ворвались с нахлобученными фуражками, одетые в поношенную военную форму. Однако это было к лучшему и позволяло обойтись без грима, для которого не было никаких приспособлений и никакого умения. Гирин решил, что одним из «бандитов» будет сам, а вторым – Гаврилов. Кричать придется Гаврилову, так как больная уже знала голос своего жильца. Ничем, даже мелочью, нельзя было рисковать. Гирин сделал новые запоры на дверях и окнах, какие и лошади не под силу сломать. Нечаянное вторжение «приятелей» Анны могло бы испортить дело. Когда все было подготовлено, Гириным овладела страшная тревога.

Он почти не спал ночь и весь день не мог найти покоя, пока не отправился за Гавриловым и Федором. Комсомолец соглашался дать свой «наган», но лишь с условием, что сам будет поблизости. Гирин увидел бывшего красноармейца донельзя разозленным. У Федора тоже горели уши, как у обруганного.

– Ты посмотри, – обратился Гаврилов к Гирину, показывая на полдюжину исковерканных наганных патронов, – это я старался пули вынуть. Какая собака так придумала – засажено насмерть, ничем не вытащишь!

- Хорошо придумано: без пули враг не останется, – улыбнулся Гирин.
- Тебе хорошо, – буркнул Гаврилов, – а для меня да для него патроны дороже золота...
- А ты напильником гильзу срежь наполовину, – посоветовал Гирин.
- Тогда как стрелять? Огнем шарахнет из барабана!
- И черт с ним! Еще страшнее будет. Только держи подальше от глаз...
- И то! Дело сказываешь... вот эти, которые испорченные, пойдут теперь. Двух хватит?
- Пожалуй, надо три... Помни: сперва ты стреляешь вверх при входе, потом я в Анну, а там ты целишь в мать!
- Чудно все это! Ну ладно, сказано – сделано! Сейчас пойдем.

Начало темнеть, когда Анна стала собирать на стол перед постелью матери, нарочно запозднившись. Они всегда ели вместе – Анна придвигала стол, усаживала больную и кормила ее, потом ела сама, и мать следила за ней тревожно, ласково и жалостно. Сегодня девушка с трудом скрывала от матери колотившую ее нервную дрожь. Покормив больную, она села за стол и переставила маленькую лампу на дальний конец стола. Это был сигнал. С грохотом распахнулась отброшенная сапогом Гирина дверь. Изрыгая гнусную матерщину, в кухню ворвались двое бандитов в расстегнутых гимнастерках, с низко нахлобученными фуражками и «наганами» в руках. С воплем вскочила, опрокинув стул, Анна. Хлестнул выстрел, наполнив избу громом и кислой вонью бездымного пороха. Широко открыв рот, с вылезающими из орбит глазами, мать Анны уставилась на Гаврилова, который завизжал, как от нестерпимой злобы:

- Ага, попалась! Тогда не добили Павлову суку, теперь пришла пора! Степка (это к Гирину), застрели ее отродье, а я с ней расправляюсь! – вопил Гаврилов, прицеливаясь в переносицу больной.

Но она, белая как мел, не смотрела на него, а следила за метнувшейся к окну дочерью. Грохнул второй выстрел, и Анна повалилась под лавку. Гаврилов и Гирин яростно заревели. Бывший солдат уже прицелился в больную, как произошло то, чего добивался Гирин. Забыв обо всем на свете, кроме своего застреленного детища, мать Анны вдруг издала неясный крик и рванулась с постели.

– Ды-ы-о-ченька! – раздался ее навсегда запомнившийся Гирину вопль.

Больная рухнула на пол, сильно стукнулась головой и, очевидно сделав чудовищное усилие, уцепилась за лавку, пытаясь встать. Гирин и Гаврилов бросились к ней, подхватывая ее под руки. Из последних сил мать Анны попыталась плюнуть Гирину в лицо и потеряла сознание. Гирин, положив ее на постель, слушал пульс, «ожившая» Анна кинулась за водой в сенцы и столкнулась с любопытным и встревоженным Федором. Комсомолец тяжело ввалился в избу и первым делом ухватился за свой «наган», брошенный Гириним на стол.

– Ну как? Что? Получилось? Али насовсем убили? – приставал он к Гирину, который только мотал головой, стараясь привести больную в чувство.

Наконец холодная вода, растирания, нашатырный спирт возымели свое действие, и мать Анны открыла глаза. Недоумение, граничащее с безумием, мелькнуло в них, когда она увидела склоненную над ней дочь, живую и невредимую.

– До-чень-ка, Ан-нушка... – глухо и невнятно, запинаясь, сказала больная и с усилием подняла тонкую руку, вернее, обтянутый кожей скелет руки.

Анна упала на ее постель, разразилась безудержными рыданиями. Гирин отступил и огляделся. Гаврилов, весь мокрый от пота, утирал лицо рукавом и приводил в порядок свою поношенную, но аккуратную форму, нарочно расхлыстанную им для приобретения бандитского вида.

– О, и труханул же я, когда Марья... того. Думал, загнулась насовсем, и что же теперь будет? Рисковое, брат, дело! И как это ты сумел меня в него впутать? Обошел ведь, – сердито бурчал Гаврилов, смотря на студента с ласковым одобрением.

– Я больше перетрусил, – признался Гирин. – Затеял дело! А ведь дело таково, что очень просто убить человека. Все перед глазами у меня был Аствацатуров, тот профессор, о котором я вам рассказывал. Поверил я в него не хуже той больной.

– Ладно, вижу, что добром кончилось. Я пойду. – И он приблизился к постели с хитрой улыбкой. – Будь здорова, Марья! Подымайся теперь скорее! – сказал Гаврилов и вышел в сопровождении Федора, немного от изумления.

Каждая жилка еще дрожала в теле Гирина, в горле стоял комок, когда он слушал невнятные, звучащие каким-то нелепым иностранным акцентом слова матери Анны. Впервые после мучительных и долгих лет она могла выразить дочери всю любовь, заботу и тревогу – то, что до сих пор силилась передать глазами. Слезы безостановочно катились по щекам обеих женщин, прильнувших друг к другу в этот час чудесного избавления. Гирин медленно повернулся и шагнул к двери. Анна вскочила и бросилась к ногам донельзя смущенного студента.

– Что вы... как можно... какая ерунда... – запинаясь, забормотал Гирин, одним сильным движением поднял Анну и укрылся в своей комнате, слыша рыдания: «По гроб обязана... никогда не забуду... навеки...»

Страшное напряжение и жгучие опасения последних суток так измучили Гирина, что он обмяк и отупел. Механически свертывая сигарку, он присел на кровать, не раздеваясь и не снимая сапог, попробовал обдумать дальнейшее лечение Аниной матери и... проснулся поздним солнечным утром. С удивлением оглядевшись и потягиваясь онемевшим телом, Гирин поднялся с огромным облегчением. Нечто очень трудное и страшное осталось позади, он победил. Настоящая победа, самая радостная... Какое это счастье – избавить человека, нет, двух от незаслуженно тяжелой судьбы, от последствий давнего преступления! Теперь дело времени, и не очень долгого, чтобы излеченная от паралича мать Анны стала нормальным человеком.

За дверь послышались осторожные шаги босых ног – видимо, не в первый раз Анна подходила и прислушивалась, боясь разбудить.

– Анна! – окликнул ее Гирин, и девушка вихрем ворвалась в комнату, на секунду замерла, ослепленная солнцем, и, вскрикнув: «Родной!», бросилась ему на шею.

Безотчетно Гирин обнял Анну, девушка крепко поцеловала его в губы, застыдилась и убежала.

Ошеломленный этим бурным проявлением чувств, Гирин не сразу пошел на хозяйскую половину проведать мать Анны. Трудно человеку в девятнадцать лет, да еще застенчивому по природе, слушать восторженные благодарности, граничащие с поклонением. Еще труднее, когда эти слова произносятся в трогательных и жалких усилиях – губами и языком, еще непослушными после пяти лет безнадежного молчания. И совсем уже неловко, если рядом сидит прелестная девушка и ловит, как дар свыше, каждый твой взгляд и каждое слово. Гирин кое-как вытерпел неизбежное. Он узнал о порядочном переполохе среди соседей, вызванном ночной стрельбой, криками и руганью. Никто не мог ничего понять, а Гаврилов с Федором отмалчивались. Во всяком случае, таинственные дела в доме Анны отразились и на ночных посещениях – покой выздоравливающей ничем не нарушался.

Гирин отправился в Коркино – дальнюю, еще не обследованную деревню – и вернулся через четыре дня, чтобы убедиться, что мать Анны могла уже понемногу ходить по избе и даже выбираться на крыльцо. Новость потрясла всех односельчан, и, видимо, кто-то из помощников Гирина в конце концов проговорился. Даже недоброжелатели, до того смотревшие на студента как на пустое место, стали здороваться. Наглые парни ничем себя не проявляли, но Гирину пора было уезжать.

Анна как будто избегала его в последние дни, до тех пор пока Марья не позвала однажды вечером дочь и студента на семейный совет. Кухня, начисто проветренная, с распахнутыми окошками, преобразилась. Гирин с удивлением увидел, что мать Анны, которую он считал старухой, вовсе не стара и сохранила многое от прежней, унаследованной дочерью, красоты. Женщина наливалась жизнью с каждым днем, и с каждым днем становилась решительнее в определении своей дальнейшей судьбы.

– Лишний день оставаться здесь не могу, – говорила она, – в этой избе проклятой. Здесь, где убили Павла, где мы с дочерью мучились без просвета, почитай, пять годов, нет, нежитье тут! Куда угодно, только не тут.

Анна выжидательно смотрела на Гирина. Тот напомнил свой совет Анне – ехать в город и поступать на рабфак. Мать могла теперь найти работу в городе, а Гирин обещал приискать в Ленинграде дешевую комнатку.

Дом, с любовью строенный Павлом, был еще хорош, и денег от его продажи могло хватить на первое время, пока все устроится.

Анна радостно завертелась по кухне, а Марья по-прежнему медленно, но теперь уже совершенно внятно произнесла:

– Ладно, зови завтра же Обьедкова – он давно к тебе с домом приставал, чтоб продали. Я сама сделаю уговор, и поскорее. Только вот что, дочка, чтобы нам тут без Ивана не оставаться – сама знаешь почему! Надо поехать вместе до пристани. В Богородском пока на квартиру станем. Был бы ты сам с родными из Ленинграда, тогда бы, пожалуй, я попросилась бы с тобой. А так – лучше подождем в Богородском, нас никто там не тронет. Да и я обвыкну больше – думаешь, легко с края могилы вернуться, опять жить начинать?

Так и решили. Собрать и связать имущество Столяровых было пустяковым делом. Анна в последние два дня вставала до света и исчезала куда-то, появляясь лишь поздним утром. Гирин не мог подавить в себе брезгливое подозрение и стал невольно отстраняться от девушки, пока она сама не позвала его с собой. На вопрос «куда?» Анна лишь загадочно улыбнулась и, сжав руку Гирина своей – горячей и жесткой, шепнула: «Увидишь сам!»

Гирин встревожился – откровенная любовь смотрела из радостных глаз Анны. Завтра должен был быть последний день их пребывания в селе. Увлеченный своей ролью рыцаря-спасителя, он не заметил, как стал очень нежен с Анной, поддавшись обаянию девушки. А ведь в Ленинграде его ждала гордая Настя с глазами, как незабудки, – студентка биофака, его ровесница. Он, честно сказать, немного позабыл о ней в своих приключениях, но теперь все это отходит и... надо держать ответ перед Анной. Гирин знал, что после такого разговора все будет по-иному, не хотел этого и откладывал выяснение отношений. Но, пожалуй, завтра отступить будет некуда!

Анна разбудила Гирина, когда небо еще не начало светлеть. Яркие августовские звезды мерцали особенно сильно и приветливо. Уборка хлеба была в разгаре, и днем село пустовало, предоставленное детям и старикам, но время было раннее даже для жнецов. В избах загорались огоньки, и хозяйки только начинали сборы. Анна и Гирин не встретили ни одного человека и, незамеченные, вышли за околицу, направившись по Лешновской дороге на север. Невдалеке начиналась роща стройных сосен, давно уже не знавших

вырубки. Гирин остановился, чтобы задать Анне какой-то вопрос, но девушка, сосредоточенная и торопливая, молча потянула его за рукав. Студент ускорил шаг. Полевая дорога, покрытая толстым слоем пыли, глушила стук сапог, и Гирину казалось, что он крадется в ночной тиши, подобно зверю.

Дорога отвернула от полей, сузилась в тропинку. Лесная трава и маленькие кустики были обильно смочены росой. Анна высоко подоткнула юбку, быстро переступая мокрыми босыми ногами, а поношенные сапоги Гирина начали хлюпать. Колени намокли в холодноватой росе. Гирин шагал за спешившей и молчаливой Анной, наполненный ожиданием чего-то хорошего. Узкий серпик луны висел над приближавшимся лесом, но давал света меньше, чем крупные звезды и едва-едва заметный проблеск нарождавшейся справа за лесом зари.

Странное чувство взволновало Гирина. Он как будто ушел из мира повседневных дум и забот, мыслей о скором свидании с полюбившимся накрепко Ленинградом и синеглазой Настей, об отчете перед профессором, о неожиданном излечении матери Анны, о том, как помочь Анне устроить новую жизнь... Первобытное чувство слияния с природой отодвинуло все. Осталось настороженное ощущение, что он идет, наслаждаясь быстротой, тишиной, росяной влагой и призывом звездных огней, рядом с Анной, в бесконечно свободную и все обещающую даль. Но звезды исчезли. Их сменил глубокий мрак высокоствольного леса. Бор рос на длинном песчаном валу, когда-то нагроможденном ледником. Здесь было сухо, белый мох шуршал под ногами. Гирин знал такие боры – в них почти нет травы или кустов, скот пасти здесь нельзя. За исключением грибного времени, эти леса совершенно безлюдны. Сейчас, в уборочную страду, можно быть уверенным, что не встретишь ни одной живой души.

Медленно рассеивался ночной мрак – за лесом поднималась заря. Суровая серая мгла заполняла лес, сквозь ветки которого уже просвечивало медное восточное небо. Чувства Гирина изменились. Он был уже не зверем, бездумно впитывавшим в себя все запахи, шорохи и огоньки природы, а человеком, торжественно, как художник, вступавшим в таинство лесного храма в момент пробуждения природы от ночного сна.

Лес окончился, они вышли на широкую поляну на самой вершине холма. Сумеречный простор был внезапен после лесных стен, ветер бодрящей волной прошел над поляной, чуть приглаживая высокую, обильно покрытую росой траву. От медной зари миллионы ее капель отливали то теплой краснотой, будто

бесчисленные искорки развеянного костра, то холодным серебряным блеском, просвечивающим сквозь редющую тьму. Жемчужные полосы предрассветного тумана вились покрывалом над росистой поляной и никли, стелились, уходя в черную, глубокую тьму на опушке высокоствольного леса.

Разгоревшаяся заря гасила серпик месяца, все шире расходилась россыпь гранатовых огоньков, стебли травы оживали. Тишина и тайна реяли над этой поляной, молчаливо прощавшейся с умирающими звездами. Все замерло, лишь туман вел свою волшебную игру, становясь все более розовым и неясным. Гирин подумал, что, может быть, правы наши предки, верившие в чудодейственную силу росистого утра. Во всех былинах и сказках люди купались и купали своих лошадей на рассвете в росе, чтобы приобрести особенную выносливость для борьбы с врагами. Кто знает, какая сила скрыта в этой поляне, впитавшей в себя и ночное сияние звезд, и первый свет рождающегося дня? Он ощутил, как расширяется грудь, набирая живительный воздух, как сильно стучит его сердце. Анна приняла шумный вздох Гирина за нетерпение. Рука девушки нашла его руку, и он услышал шепот:

– Это здесь, видишь?

– Что – здесь?

– Заветная поляна. Я уж который раз бегаю сюда на рассвете – омыться в росе.

– Как это ты делаешь?

– Меня одна старуха научила. Ну, разденешься совсем как есть и бежишь через поляну стремглав, потом назад, потом налево, направо, куда глаза глядят. Поначалу замрешь вся, сердце захолонет, к горлу подступает – роса-то холодная, много ее, так и льет с тебя. А потом разогреешься, тело горит пламенем, вся усталость отходит. Оденешься и идешь домой, а на душе покойно, и вся ты насквозь чистая, как в небе побывала! Это место не простое, древнее, старики говорят, тут тыщу лет назад идолы стояли, с тех пор такая поляна круглая. А траву здесь не косят – говорят, скотина с нее болеет: сила большая в бурьяне этом.

– А ты не боишься, что заболеешь? Ведь так и простудиться можно.

– Не заболею я, только крепче стану. – И девушка пристально взглянула на Гирина. Глубокие тени делали лицо Анны таинственным, и вся она, выпрямившаяся на фоне зари, показалась Гирину величавой.

– Тогда зачем же не купаться просто в реке? – спросил он, пытаясь как-то отвлечься от все сильнее овладевавшей им тревоги, что сейчас надо объясниться с Анной и... потерять ее.

– Здесь вся нечисть отходит, как вновь родишься, – тихо ответила Анна, – а мне нужно быть чистой, чистой... – Она умолкла, вплотную подойдя к Гирину и глядя ему в лицо широко открытыми глазами. Он не запомнил, сколько времени они смотрели друг на друга.

Птицы заливались в проснувшемся лесу, пологие лучи солнца проникли между красными стволами сосен, бугорки мха белели в россыпях ошестинившихся шишек. Вдали, еще робкая и вялая, зазвучала первая песня жнецов. Анна так долго разглядывала Гирина, что студент почувствовал неловкость. Он не умел и не хотел притворяться, но, боясь обидеть ее, попытался шуткой прикрыть свои чувства, вернее, отсутствие их.

– Сядем, – коротко бросила она, указывая на мшистый бугорок. – Скажи, я для тебя стара или порчена?

– Что ты, Анна, – искренне возмутился Гирин, – я... ты нравишься мне, но...

– Ладно, нечего говорить. Ты парень вовсе молодой, а я гулящая, – твердо и горько сказала Анна.

Гирин промолчал, кляня себя за неумение объяснить ей, что дело вовсе не в этом. Просто он любит другую.

Анна лежала, закинув руки за голову, и о чем-то напряженно думала, следя за облаками в ярко-голубом небе. Отчаявшись наладить разговор, Гирин стал уговаривать Анну петь. Девушка села, по-прежнему обратив взор в небо, и, следя за покачивавшимися верхушками высоких сосен, запела старинную и печальную песню:

Выше, выше, смолистые сосны, вырастайте в сиянии дня,

Только цепи мои неизносные скиньте, сбросьте, не мучьте меня!

И прежняя тоска в ее голосе напомнила Гирина встречу на пароме и «Лучинушку». Гирин слушал задушевное пение Анны, уйдя в свои мысли.

Он очнулся, когда Анна разразилась отчаянными рыданиями. Гирину не пришлось утешать ее. Девушка вскочила, обдернула юбку, и они молча пошли домой по полевой дороге вдоль лесной опушки. Гирин украдкой наблюдал за гордой походкой Анны. Еще не вполне обсохшая кофта туго облегла ее, и девушка шла выпрямившись, стройная как сосенка, высоко подняв голову. Грудь полностью обрисовывалась под тонкой тканью, как бы устремляясь вперед в гордом порыве. Гирин смотрел на девушку и думал, как красива такая свободная походка, когда гордая юность не стыдится своего цветущего тела и ничего не прячет, ничто не считает постыдным. Наверное, от монголов-завоевателей пришла к нам эта нездоровая стыдливость, когда женщина уродливо сгибает плечи и старается спрятать грудь. А может быть, стыдливость эта была необходимостью во время татарского ига, когда прекрасные девушки портили свою красоту, выходя из дому, чтобы не попасть в наложницы победителям. Ведь немного больше века тому назад по всей России для женщины считалось неприличным показывать волосы из-под головного убора или платка. Еще одно природное украшение женщины кто-то сделал постыдным. Продолжают бытовать слова, хотя мы уже не понимаем их значения, вроде «опростоволосилась».

Гирин еще раз оглядел задумчивую Анну, шедшую рядом, и тоже почувствовал гордость за нее.

– Эй, военный, возьми Нюшку за титьки, чего зеваешь! – раздался зычный окрик с поля, где работал здоровенный парень.

Гирин вздрогнул, очнувшись от дум, и спросил у Анны, что кричит парень.

– Да так, глупости разные, – ответила девушка, краснея и опуская взгляд, а вместе с ним и плечи, мгновенно превращаясь в стыдящуюся своей красоты жительницу старой деревни...

...Пронзительный вой сирены разнесся по бульвару, и Гирин мгновенно вернулся к настоящему. «Скорая помощь» пронеслась по направлению к Белорусскому вокзалу, спасая чью-то жизнь. И не было больше ни студента Гирина, ни знойного волжского лета, ни голосистой и печальной Анны. Многоопытный врач-ученый медленно поднялся со скамьи и зашагал к остановке троллейбуса. Что же, превосходная память не утратила ничего из случившегося на Волге много лет назад. Тогда, провожая его на пароход, девушка сказала, что поставила себе целью стать образованной, как он. И Анна сдержала свое обещание. Начав учиться в Ленинграде, она потом перебралась в Москву, сделалась хорошей, хотя и не знаменитой, певицей, исполнительницей народных песен.

Анна увлекалась живописью и скульптурой, познакомилась с его другом Прониным – пожалуй, единственным в те времена скульптором обнаженного тела. Они стали друзьями, а потом мужем и женой. Последние годы перед войной Гирин, занятый своими исследованиями, редко бывал в Москве и как-то потерял Анну из виду, а в один из недобрых дней узнал от общих знакомых, что Анна пошла добровольцем и погибла под Москвой. И уже в самом конце войны Гирин получил письмо от Пронина, лежавшего в госпитале с тяжелым ранением. Скульптор знал, что умирает, и просил Гирина в память давней дружбы разыскать и сохранить последнее его творение – незаконченную статую Анны. Он запер ее в мастерской, уезжая на фронт через несколько дней после отъезда жены. Друг умер, и Гирин только теперь смог исполнить его последнюю просьбу.

Как ни быстро пронеслось его первое лето самостоятельных исследований, все, что случилось тогда, на всю жизнь определило его путь ученого-врача и его интересы, всю его многогранную последующую деятельность. Наверное, потому так живо стоят перед ним воспоминания каждого дня того года, которые, точно накрепко обитые столбы, создали основу его восприятия жизни.

Удивительное излечение матери Анны навсегда убедило Гирина в том, что психика в организме человека, и здорового и больного, играет куда более важную роль, чем это думали его, Гирина, учителя. Отсюда родилось убеждение, что человеческий организм является настолько сложной биологической машиной, что прежняя медицинская анатомия и физиология, в сущности, едва намечали грубые очертания этого невероятно сложного устройства. Еще не дождавшись анализов собранной им коллекции воды и почв, он уже сам для себя отверг предполагаемое влияние редких элементов на возникновение

болезни Кашин-Бека. Если это влияние в какой-то мере существовало, то оно должно было служить лишь косвенной причиной запутанного процесса, вскрыть который методами науки того времени не представлялось возможным. Гирин оказался прав – профессор Медников не смог установить причины болезни.

Встреча с Анной породила в нем особенное внимание к красоте человека и жажду добиться научного понимания законов прекрасного, хотя бы того, что выражено в человеческом теле. И еще более важным стало стремление понять законы, по каким древние инстинкты, с одной стороны, и общественные предрассудки – с другой, преломляясь в психике, влияют на физиологию. Из всего этого оформилось ясное представление о необходимости психофизиологии, как серьезной науки именно для человека – мыслящего существа, у которого вся медицина до той поры существенно не отличалась от ветеринарии, то есть медицины для животных.

Глава 2

Узкая щель

Гирин поднес руку к лацкану пиджака, где должен был быть карман кителя, спохватился и вынул пачку документов из внутреннего кармана. Профессор Рябушкин небрежно перелистал справки и удостоверения.

– Я все это знаю, но почему же институт Тимукова отказался от вас? Правда, вы за войну не выросли как ученый.

– Я изменил специальность и стал хирургом. Думаю... – Гирин хотел было объяснить истинное положение вещей, но сдержался.

– Конечно, конечно, – спохватился Рябушкин, – все это послужило для вашей пользы, хорошо для экспериментальных работ, но до докторской диссертации вам куда как далеко!

– Я не претендую на какое-либо заведование и могу быть хоть младшим сотрудником.

– Отлично! – воскликнул с облегчением Рябушкин. – Тогда, значит, прямо в мою лабораторию. Проблема боли в физиологическом аспекте, а для вас – с психологическим уклоном.

И заместитель директора института принялся объяснять существо разрабатываемой им проблемы. Гирин хмурился и, воспользовавшись передышкой в речи профессора, сказал:

– Нет, мне это не подходит.

Рябушкин остановился, как осаженная на скаку лошадь.

– Позвольте узнать: почему?

– Мне кажется неприемлемым ваш подход к изучению проблемы. Болевая сыворотка – средство вызывать боль, вместо того чтобы бороться с ней.

– Да неужели вы не понимаете, что, узнав механизм появления и усиления боли, мы сможем действовать наверняка в борьбе с нею! – с раздражением воскликнул профессор. – Видно, что вы не диалектик.

– Диалектика – вещь сложная, – спокойно возразил Гирин. – Вот, например, может быть и такая диалектика: живем мы еще в далеко не устроенном мире, еще сильна всяческая дрянь, и ваша болевая сыворотка преотличнейшим образом может быть использована для неслыханных пыток. А что касается секретности, то вам, научному администратору, должно быть известно, что секреты в науке лишь отсрочка, тем более короткая, чем более общей проблемой вы занимаетесь. И все это на фоне успехов нашей анестезиологии выглядит неважно.

– Какую ерунду вы городите! – не сдержался профессор. – Так, по-вашему, некоторыми вещами нельзя и вовсе заниматься!

– Есть вещи, которыми нельзя заниматься, пока не будет лучше устроено общество на всей нашей планете, – подтвердил Гирин, – и ученым следует думать об этом. Меня тревожит, например, не слишком ли много кое-где развлекаются с энцефалографами и с лазерами.

– Ну и что?

– А то, что ряд американских физиологических лабораторий занят усиленным изучением прямого воздействия на определенные участки мозга. Вызывают ощущения страха или счастья, полного удовлетворения – эйфории. Пока у крыс и у кошек, но мостик-то ведь узок!

– Послушать вас, так я вредной вещью занят?

– Я думаю, что так.

– И вы не хотите работать в моей лаборатории именно по этой причине?

– Прежде всего по этой.

Профессор некоторое время собирался с мыслями и подавлял негодование.

– Вот какой вы! Но другой работы мы не найдем для вас в институте! Впрочем, нас недаром предупреждали... – Рябушкин умолк, спохватившись, но Гирич насторожился.

– Это о чем же предупреждали, можно узнать? О моем несговорчивом характере?

– Характер – пустяки! Есть кое-что похуже!

– Вот как? Тогда уж извольте сообщить, а то я все равно в партком пойду. Там добьюсь, в чем дело.

Рябушкин поморщился и нехотя начал, постепенно оживляясь:

– Есть такой за вами грешок, что там – целый грех, за это раньше даже врачебный диплом отнимали. Лечили вы одного больного якобы от рака, а на самом деле отравили анестезией, рака-то и не было, а вы такую дозу закатали, что больной умер. Оправдаться-то оправдались перед комиссией, а вот слава хвостом идет...

– Да, вы правы, хвостом! Вот эти хвосты и превращают людей, кто послабее, в пресмыкающихся с хвостом! – отвечал Гирин, вставая. Встал и Рябушкин, избегая смотреть ему в глаза.

– Приглашение, которое вам послали, мы аннулируем! – крикнул профессор вслед уходившему.

– Я сам позабочусь. Прощайте. – И Гирин прямо от замдиректора института направился в министерство.

– Я вряд ли смогу вернуться, не игрушки – сорвали с дела, демобилизовали для научной работы. Но могу принять любое назначение – подальше, если уж не гожусь для Москвы, – говорил Гирин начальнику отдела кадров.

– Кто вам сказал, что не годитесь? Рябушкин?

– Не только. Разве не отделались от меня в тимуковском институте? Ну и Рябушкин – после отказа работать в его лаборатории.

– Да, да. Но это еще не последняя инстанция. Найдем для вас хорошее дело. Сейчас пригласим нашего консультанта, профессора Медведева – может быть, знаете?

– Слыхал...

– Здравствуйте, доцент Гирин, – приветствовал его маленький подвижный профессор, по виду никак не соответствовавший своей фамилии.

– Какой же я доцент, никогда не преподавал, только в госпитале!

– Все равно, раз вы кандидат медицинских наук. Извините, я уж привык табель о рангах в науке свято соблюдать. Обижаются люди, ежели назовешь не так. Ну, не будем терять времени. Вы, как и я, невропатолог, а с вашими статьями по психофизиологии я знаком. Наверное, и сейчас о том же мечтаете?

– После войны еще больше. Но...

– Теперь не те времена.

– Как бы не так! Инерция велика. Вот и за мной хвост какой-то тянется, как сказал мне Рябушкин. Откуда он знает? Я, конечно, рассказывал о своей практике товарищам по работе. Видимо, кто-то нашел нужным написать вам сюда. Еще Лев Толстой упрекал русскую интеллигенцию в «неистребимой склонности писать доносы» – его собственная формулировка.

– Положим, вы это слишком! – в один голос воскликнули оба собеседника. – Ведь знать людей-то надо.

– Только по делам, а не по хвостам. Мы не крокодилы, у тех, наверное, в почете тот, у которого хвост длиннее. Разрешите мне рассказать вам одну короткую историю. Можно? – И на согласный кивок начальника кадров Гирин продолжал: – Вы знаете, что еще в прошлом столетии ученые-археологи в Египте раскапывали Тель-эль-Амарну – развалины столицы фараона Эхнатона. Особенного фараона, реформатора религии и общественной жизни. Нашли громадный архив папирусов или чего еще там, на чем писали в те времена, всего несколько тысяч документов, книг, записей – целую библиотеку дворца фараона. Ученые набросились на нее, как коршуны, – библиотека за полторы тысячи лет до нашей эры, да еще в эпоху реформ! Нашелся ключ ко всей истории, науке, религии Древнего Египта. Кропотливая расшифровка иероглифов продолжалась до двадцатых годов нашего века. И что же? Никаких данных о науке, жизни, даже религии. Тысячи кляуз! Не ручаюсь, точно ли помню, но примерно так – шестьдесят процентов доносов, сорок процентов униженных просьб пожаловать, что тогда жаловали холоум, – землю, дачу, рабов, не знаю уж что. Это было три с половиной тысячи лет назад! А сейчас, да еще в первом социалистическом государстве мира, надо, чтобы даже памяти о таком не осталось. Прежде всего надо покончить с этим хвостом старого мира.

– Хорош! – кивнул на него Медведев. – Ежели всегда вы так задиристы с коллегами, то и неудивительно. Еще не то напишут!

– Важно не то, что напишут, важно, чтобы...

– Ладно, понятно. Но вы все-таки расскажите, что это был за случай.

Гирин начал без воодушевления:

– До войны, когда я работал в Вологодской областной больнице... – А в памяти уже возникли все подробности его неудачи.

...Побывав на консультации в районе, он на обратном пути заночевал в небольшой деревне на областном тракте. Около часу ночи его разбудили двое детей из соседней деревни, прибежавших сюда в надежде на помощь проезжающих.

– Отец заболел, слышь-ко, сильно-т как, муценье глядеть, – объясняла запыхавшаяся белобрысая девчонка, в то время как мальчик лет двенадцати, ее брат, исподлобья и с детской надеждой смотрел на сонного Гирина.

Из расспросов выяснилось, что вечером у отца на щеке вдруг появилось красное пятно, началась сильная боль, так что здоровый сорокалетний мужик иногда «криком кричал». А пятно стало красным как уголь, и смотреть на него было никак не возможно...

– Почему невозможно? – тщетно домогался Гирин, перебирая в памяти все, что он знал о нарывах, гангренах и прочих гнойных заболеваниях.

– Скорее, дяденька доктур, очень муцается он, – торопила девчонка, пока Гирин одевался и проверял свой медицинский чемоданчик, в котором возил все нужное для первой помощи.

И вдруг Гирина осенило – его отличная память не подвела и на этот раз.

– Слушай, – задержал он метнувшуюся было к двери девочку, – я знаю, почему невозможно смотреть на пятно. Только говори верно – пахнет?

– Ой, как пахнет-то – все внутри переворачивается!

«Так и есть, нома, или водяной рак, одно из заболеваний, с которым врач-неспециалист сталкивается раз в жизни, а то и совсем не встречается!» – соображал Гирин, спотыкаясь в темноте, стараясь не отстать от проворных ребят.

Нома – редкое заболевание гангренозного характера у детей и лишь в совершенно исключительных случаях у взрослых. Воспаление начинается на слизистой оболочке рта и быстро выходит наружу в виде небольшой опухоли ярко-красного цвета, от которой в разные стороны расползаются валикообразные отростки. Вдоль отростков живая ткань распадается в густую жидкость с невыносимо тяжелым запахом.

Буквально на глазах большой участок тела может распасться, обнажая кости. Нома сопровождается иногда ужасной болью, иногда, наоборот, протекает при пониженной чувствительности. Гирин силился воскресить в памяти случаи выздоровления от номы, но таких не было. Только при срочном вмешательстве хирурга, если нацело иссекался весь пораженный участок и еще большая область вокруг него, тогда страшный водяной рак оставлял свою жертву искалеченной, но живой.

И если его ждет действительно нома, то что он может сделать? В то время он не занимался хирургией, кроме несложных вскрываний нарывов, лечения переломов, извлечения заноз – всего того набора простых ран, с которым приходится иметь дело каждому врачу, подающему первую помощь. Скальпель, турникет, ножницы, пинцет – вот и весь набор в его чемоданчике.

В хорошей чистой избе его встретила насмерть перепуганная женщина. Сам хозяин метался на постели, издавая приглушенные стоны. Рубаха взмокла от пота, так же как и полотенце, брошенное на плечо и шею. Капли пота выступили и на лбу под спутавшимися и взмокшими волосами. Маленькие, глубоко запавшие глаза взглянули на Гирина с такой радостной верой, что тот постарался прикрыть смущение бодрыми словами: «Ну сейчас посмотрим».

Страшная вонь, не похожая на то, с чем ему приходилось встречаться прежде, ударила Гирина в нос. Он постарался сдержать тошноту и не дышать, но запыхавшемуся после быстрой ходьбы этот запах так и лез в ноздри. Да, все было так. Красная опухоль с короткими тупыми отростками находилась на левой щеке, снизу, почти у самого угла нижней челюсти, а самый большой отросток уже достиг края надключичной ямки, рассекая кожу неширокой бороздой, на дне которой смутно просвечивала кость. Достаточно было минутного осмотра, чтобы убедиться в том, что для иссекания номы требуется сложная операция, которую районный хирург, вероятно, проделает с уверенностью. Но пока больного доведут в больницу, опухоль сильно разрастется, и тогда понадобятся оборудование и персонал областной клиники. Пока доставят в клинику... Гирин

оборвал сам себя, сочтя, что не имеет времени для бесполезных рассуждений. Чтобы спасти больного, надо было или немедленно доставить его в больницу, или... или замедлить развитие опухоли. Доставить немедля было нельзя, значит, оставалось одно – замедлить! Как? Если перерезать все ткани вокруг пораженного места? Но на какую глубину идут отростки? И какая гарантия, что они не перейдут через разрезы?

Гирин уселся на подставленный стул и задумался. Вся семья стояла по углам избы в молчаливом оцепенении, и даже хозяин перестал стонать, следя за врачом.

А тот, напрягая все душевные силы, пытался найти верное решение. Враг, с которым он столкнулся, был настолько страшен, что нельзя было допустить неточности решения. Сам не чувствуя большой уверенности, он потребовал горячей воды, чистую простыню, раскрыл чемодан и взял шприц – в заранее стерилизованной коробке. И в тот самый момент, когда он раскрыл коробку, его вдруг точно встряхнуло. А может, вместо рассечения тканей инъецировать их новокаином? Может быть, уместно что-то вроде новокаиновой блокады? Если нома – вирусное заболевание, то все равно воспаление не должно происходить без участия нервной регуляции! А если так – новокаин затормозит процесс настолько, чтобы успеть в операционную. Самое плохое – неизвестно, насколько глубоко проникает опухоль: ведь барьер из анестезированной ткани надо создать и под опухолью! Надо много анестетика – не беда, он взял целую коробку.

Медлительная неуверенность слетела с Гирина. Короткими повелительными фразами он начал отдавать распоряжения. Запрягать лошадь и ждать его с больным. Бежать на тракт и останавливать там первую проходящую машину чем угодно: мольбами, деньгами, угрозами – весь вопрос был в том, чтобы эта машина случилась теперь же, а не тогда, когда окончится действие лекарства. Уверенно он приступил к анестезии, шаг за шагом пропитывая ткани, вспоминая, чему учили Спасокукоцкий и Вишневский. Скоро бледное кольцо окружило опухоль онемелым, нечувствительным валиком. Больной перестал метаться, улыбнулся, попросил молока.

Все шло удачно – и машину остановили на тракте, и быстро привезли больного, и доехали до рассвета до больницы, и хирург готов был сделать иссечение, но... больной погиб от коллапса через каких-нибудь полчаса после приезда. Гирин так и не смог установить, что именно случилось – была ли у больного аллергия

к новокаину, или анестезированная область захватила аномально проходившую крупную веточку десятого нерва, или вообще он впрыснул количество анестетика, оказавшееся больному не под силу, хотя тот и выглядел крепким человеком. Но самое важное – опухоль не только не прогрессировала, а сократилась настолько, что хирург и главврач больницы отказались подтвердить диагноз номы! Получилась большая неприятность: как будто Гирин ошибся в диагнозе и отравил больного ненужно большим количеством новокаина, вдобавок впрыснутого неумело! Гирин сумел доказать свою правоту, представив анализ опухоли и разъяснив мероприятие, но все же сомнение оставалось и потащилось за ним, как пресловутый крокодилов хвост. И обвинявшие и оправдавшие его врачи еще не сталкивались с номой. Все рассуждения носили теоретический характер.

Оба министерских работника внимательно выслушали его рассказ и молча переглянулись. Скрывая улыбку, Медведев спросил:

– А правда, что вы еще студентом лечили кого-то с помощью «нагана»?

– Не «нагана», а с помощью Аствацатурова, – возразил горячо Гирин. – Видите, вам и это известно!

– Но вы ведь никогда и не скрывали?

– Нет, конечно. Только все это было так давно! – Никто не отозвался на вызов в тоне Гирина.

– Так, – произнес, помолчав, начальник отдела кадров. – Знания и способности у вас, видимо, большие, и вы нужны в исследовательских институтах, а вот... – говоривший умолк.

– Досказывайте, раз начали.

– Сами понимаете или позже поймете. Что вы скажете, профессор?

– Я полагаю – направить в ту физиологическую лабораторию, о которой я вам говорил. Пойдете младшим сотрудником в сравнительную физиологию зрения? – повернулся он к Гирину.

– Пойду... пока, – равнодушно согласился тот.

– Что значит «пока»?

– Пока не будет создана специальная психофизиологическая лаборатория, необходимость которой докажу и добьюсь организации!

– Ну вот и хорошо, – заключил начальник отдела кадров.

«Неудачно началось у меня в Москве, – раздумывал Гирин, оглядывая свою комнату с кое-какой приобретенной наспех мебелью. – Провалилось дело с работой в нужном мне институте. Безденежье не дает возможности реставрировать статую Анны и привезти ее на выставку. Художники сказали, что выставят, если я возьму на себя все расходы. И на том спасибо».

На другой день Гирин отправился в геологический институт, где работала едва ли не половина тех геологов, которым наша страна обязана рудами и нефтью, углем и алмазами, бокситами и цементом. Гирин шел по темным, заставленным шкафами коридорам, с волнением читая на дверях известные по газетам фамилии и негодуя на тесноту устарелого здания постройки тридцатых годов. Андреев встретил его в проходе разгороженного шкафами кабинета. Гирин подумал, что эта узкая щель никак не подходит человеку, вся жизнь которого прошла в просторах казахских степей, бесконечных болотах сибирской тайги, высях Алтая и Тянь-Шаня. Геолог, должно быть, прочел его мысли, потому что, слегка усмехнувшись, сказал:

– Это не беда, после тайги хорошо сидеть потеснее. Устанешь, знаете, когда полгода без стен – трудно сосредоточиться.

– Вы все тот же, – приветливо, но не принимая шутки, ответил Гирин. – Бывает ли у вас то, что вы назовете бедой?

Геолог заулыбался еще шире и вдруг сердито стукнул по столу.

– Как же нет беды? Беды нет только разве у полных идиотов. Есть такие – всем довольны... а вот у меня! – Андреев распахнул высокие створки простецкого фанерного шкафа, открыв две колонки некрашенных лотков.

В полутемной глубине замаячили угловатые куски горных пород. Даже на неопытный взгляд Гирина камни удивляли разнообразием: то угрюмым темно-серым, то теплым красным, желтым цветом, то сочетанием разнокалиберной пятнистости. Какие-то блески, серебристые и черные, огоньки маленьких кристаллов – зеленых, розовых, синеватых – слабо мерцали в кусках камня, как бы поддразнивая Гирина и укоряя в невежестве.

– Видите, все полно! – крикнул Андреев, и Гирин сразу понял, что геолог действительно говорит о самом наболевшем. – И здесь, и в коридоре, и на складе, паршивом складе тоже. А здесь каждый из этих, для вас простых, камней – редчайшая вещь. Вот эти, – Андреев рывком выдвинул тяжеленный лоток, – отбиты от скал в почти недоступном ущелье притока Индигирки. Мы, надрываясь, несли их в заплечных мешках, перегружали на оленей, мчали на плотках через бушующие пороги. А эти – с вершинного гребня... хм, одной громаднейшей горы – я и сам не знаю, как удалось спуститься с грузом образцов. А эти – чтобы добыть их, мы поднимали лошадей на веревках на отвесные кручи ригелей – перегородок в ледниковых ущельях... Там, в левом шкафу, – мы вывезли их сквозь страшные пески из хребта, от которого четыреста километров до ближайшей воды... А вот там – из жарких болот Африки – первые, которых коснулась рука ученого, а не равнодушные пальцы белого проспектора, стремящегося лишь к обогащению!..

Гирин с уважением осматривал стойки с рядами одинаковых лотков.

– Неужели негде хранить? – спросил он. – Как же это?

– Негде! Когда-то, в первые пятилетки, нам отчаянно не хватало геологов. И мы посылали на ответственные работы студентишек со второго курса... а уж дипломники, те чуть ли не в начальниках групп ходили. Конечно, съемка получилась пестрая и коллекции были собраны разной ценности. С тех пор утвердился взгляд, что геологические коллекции хранить не следует – надо слишком много места, документировали карту, представили пробу – и долой. До сих пор не переломить заскорузлой косности. А по-моему, та сумма труда, которая затрачена на то, чтобы проникнуть в недоступные места, вынести оттуда эти камни, – уже сама по себе заслуживает сохранения. Мало ли что когда понадобится – ведь всех маршрутов и экспедиций не повторишь, – полстолетия пройдет, пока кто-нибудь опять явится на то же место! Так неужели нельзя построить – тьфу, дрянь! – большой каменный сарай с несколькими отопляемыми кабинетами и сделать для страны настоящее

хранилище? При нашей теперешней технике – ерунда, дешевка, а какие ценности будут сохранены. Только построй с расчетом – с запасом места, иначе через пять лет повторится то же самое.

– Совершенно ясно! Одного не пойму: как же это не очевидно вашим большим деятелям? Ведь по современным масштабам вопрос в самом деле пустяковый!

– Верно, что пустяковый. Но его не возьмут отдельно, а вместе с целой кучей других – и выйдет, что еще не время, – пробурчал Андреев. – Беда в том, что академики наши давно перестали сами собирать коллекции в поле. Нас, старых геологов, дразнят суевериями, якобы мы в таежных путешествиях набрались первобытности от шаманов. Не выступаем в маршрут в понедельник, опасаемся зловещих мест и чересчур ценим собранные камни. Те, кто всю жизнь проводит в городах или курортах, всегда под защитой крыши, стен, света и тепла, даже не представляют, как необъятен ночной простор степи и тайги, как опасен каждый шаг в темных горах, как грозно режут волны во время бури в открытом море или когда река, стиснутая ущельями, бешено хлещет пенными струями о камни порогов. Кто знает опасности камнепада или морозной вьюги, тот понимает, что даже самая хорошая выучка и знание дела, самый широкий опыт не могут застраховать от непредвиденной катастрофы в океане громадного, еще мало познанного мира вокруг нас. Потому мы цепляемся за каждый вынесенный из маршрута образец, каждый набросок карты, а идиотская сарайная экономия отнимает от нас драгоценные документы труда и риска...

– Эге, я посмотрю, у каждого своя беда, даже у таких столпов науки, как вы!

– Жизнь, что поделаешь! – Геолог успокоился так же внезапно, как рассердился.

Гирин помолчал и тихо, точно самому себе, сказал:

– Завидую вашему характеру. Мы в психологии называем это хорошо сбалансированной личностью. Быстрое торможение и приход в норму.

– Должно быть, привычка к самым различным невзгодам, – ответил Андреев и почему-то вздохнул. – Если бы вы попутешествовали столько, сколько я, в первые годы Советской страны, в первые пятилетки, при еще мало развитом транспорте. Одному богу, да разве еще черту, известно, сколько томительных

часов и дней я провалялся на почтовых и железнодорожных станциях, пристанях, аэродромах! Сколько убеждений, угроз, мольбы, чтобы своевременно отправить свою экспедицию, отослать груз, вывезти людей домой. Что перед этим таежные невзгоды – пустяки, в них зависишь от себя, своего здоровья, смекалки и крепости. А вот когда вы попадаете в зависимость от человека, да еще нередко плохого... – геолог поморщился, – черт его знает, случайность это или закономерность, что там, где надо иметь дело с людьми, с их нуждами и заботами, там попадают как раз дрянь людишки. А будь моя на то воля, подбирал бы совершенно особых людей, чтобы выслушивать человеческие нужды и просьбы в жилотделах, собесах и, уж конечно, для геологов – на транспорте. Да еще ставил бы над ними этакую независимую и вдумчивую инспекцию с беспощадными правами, вроде Рабкринана прежних лет!

– Вижу, что натерпелись! – рассмеялся Гирин, а геолог вспыхнул негодованием.

– Представьте на минуту – большая река в тайге. Пустынные берега в неглубоком восточносибирском снегу, ранние морозы крепчают по ночам, и река туманится паром, а по ней с громким шорохом ползет, теснится, а на быстринах мчится шуга. Со дня на день река станет – тогда всей экспедиции, только что выбравшейся из тайги, придется два месяца ждать санного пути по реке.

– Почему два месяца? Ведь вы сами сказали, что река вот-вот...

– А потому, что шиверы, перекаты и порожистые места много позже покроются льдом, по которому можно будет возить грузы. Другого пути нет, разве что оленьими нартами, но в охотничий сезон, наступающий для орохонов – оленных людей, не скоро соберешь такой караван, чтобы вывезти все: людей, грузы, имущество, коллекции – вот эти самые, которые негде хранить. Такая ситуация! Что получается, когда к поселку причаливает последний пароход? Всякий знает, что он последний, что переполнен до отказа, а люди рвутся, только бы попасть. Сибиряки-таежники – народ серьезный и здоровый, поэтому капитан ставит к трапу отборных матросов, человек по шесть. Парни могучие и прямо-таки озверелые от постоянных атак в каждом поселке, на каждой пристани. Какой тут выход?

– А он есть?

– Есть! Часть моих ребят-рабочих всегда остается в поселке – или чтобы идти в тайгу в обрат, или ждать санного пути, а пока поработать в жилухе. Вот эти ребята с добровольцами из местных жителей, кому поставлена соответствующая порция, нагло прут на трап и завязывают с матросами пустяковую, но упорную драку. На помощь сбегается вся команда с капитаном во главе, драка разрастается, подходят подкрепления из кандидатов в пассажиры. Вконец озлобившийся капитан приказывает отваливать, и, когда пароход уже ушел от поселка на середину реки, пробившись сквозь свежие забереги, обнаруживается на нем наша экспедиция.

– Это как же?

– А драка на что? Пока команда занята ею, мы с речного борта пристаем на лодке, в момент выбрасываем на пароход наш груз, укрываемся где-нибудь за трубой или за кучей палубного груза, а лодка быстренько уходит.

– Но что же капитан, когда вас обнаружат?

– Есть или был раньше неписанный закон, свято соблюдавшийся на всех таежных реках: сумел забраться на пароход – никто не смеет с него прогнать. Да оно и понятно! Высадить людей где-то на берегу среди тайги на застывающей реке – это подвергнуть их смертельной опасности. А возвращаться еще хуже: нельзя терять и часа – пароход может зазимовать. Так и получаются законы – из жизненной необходимости... – Геолог помолчал, взглянул на часы и спросил: – Так что у вас за дело?

– Оно небольшое: одолжите мне рублей триста, только вот что плохо, месяцев на пять.

– Ничуть не плохо! На сберкнижке есть, понадобятся не скоро. Все геологи покупки делают осенью, по возвращении из экспедиций – многолетняя привычка.

С молодости весной – пустой, а из тайги – с мощной. Как же быть? Самое лучшее – приходите сегодня вечером. Чаю выпьем, настоящего, крепкого. В Москве измельчал народ, даже геологи пьют пустяки какие-то вместо чая.

Гирину очень нравилась жена Андреева, Екатерина Алексеевна – совершенная противоположность мужу. Крепкий, невысокий, очень живой геолог и крупная, дородная, как боярыня, жена составляли отличную пару. Спокойная, чисто русская красота Екатерины Алексеевны, чуть медлительные, уверенные ее движения, пристальный и пронизательный взгляд ее светлых глаз, грудной глубокий голос – Гирин, шутя сам с собой, думал, что он влюбился бы в жену приятеля, не будь она так величественна. Он любил редкие посещения их заставленной книгами квартиры, уют и покой этого приспособленного для работы и отдыха дома. Стремительная, резкая речь Андреева выравнивалась неторопливым, едва заметно окающим говорком жены (родом из древнего Ростова Великого), когда она, с вечно дымящейся папиросой в тонких пальцах, успокаивала и смягчала юмором суровые или грубоватые слова геолога. Всегда мало евший Гирин уходил от четы Андреевых едва дыша – ему непостижимо, когда успевала очень занятая Екатерина Алексеевна (она была известной художницей) готовить столь вкусные яства и в таком невероятном количестве.

На этот раз Андрееву не пришлось «подкормить» Гирину – жена была в отъезде, а дочь Рита, студентка, «скакала где-то по чужим дворам», по выражению геолога. Однако темный как смола чай был заварен на славу.

– Ну, жду рассказа, – строго сказал Андреев, наливая по второй пиале из опалово-прозрачного фарфора, – лишь Андреевы ведали, какой страны и какого века.

– Рассказывать пока нечего, – неохотно откликнулся Гирин.

– Как так? – вскинулся геолог. – Если мой старый приятель, достигнувший определенных высот в своем врачебном положении, вдруг появляется в Москве, где у него ни кола ни двора, да еще бросается занимать деньги, не нужно быть мудрецом, чтобы понять серьезный поворот судьбы. Ясно как день – поворот этот связан с возвращением в сферы теоретической науки. И утверждаю: после разрыва с женой все еще ходит в холостяках – женатый человек не будет так «очертяголовничать». Он позаботится о твердом окладе, квартирке, перспективах. Что скажете о вашем новом роде занятий? Удалось ли вам организовать... как это, помните, что вы давно хотели, – физиологическую психологию?

– Как вы запомнили? Ведь я писал вам об этом десять лет назад.

– Запомнил, потому что интересно и еще потому, что писали с чувством обреченности. Я не в насмешку, так запомнилось, не смыслом, а ощущением. А сейчас вы снова приехали, чтобы добиваться уже здесь, в столице?

– На этот раз – да! Но обреченности нет, даже странно – почему? Ничего еще не сделал, скорее пока неудача, а уверенность есть.

– Я понимаю почему. То, что проницательные люди предчувствовали уже давно, это гигантское восхождение науки, ныне начинают понимать все!

– Вы правы! Каждому стало ясно, что наука поможет обеспечить будущее его детей, создаст все нужное для того, чтобы прокормить, одеть и предохранить от болезней всю массу растущего населения. Стало очевидно, что мы должны строить будущее по законам науки, иначе... – Гирин прервал себя выразительным жестом.

– Этот гимн науке был бы верен, если бы не было и другой ее стороны – термоядерных бомб, например. Однако и тут ее сила тоже ясна! Но я хотел сказать, что нет наук бесполезных, что существовавшее совсем недавно их деление безнадежно устарело. Даже самый прозорливый человек не сможет теперь разграничить исследование важное от неважного. Эта ваша психофизиология, казавшаяся до войны вам самому еще далекой от применения, теперь должна стать важнейшей отраслью биологии и медицины.

– Совершенно верно! Новая жизнь создает новые потребности, новые машины требуют новых людей, умеющих владеть своей психикой. Да и психику эту надо тренировать, укреплять, развивать. Но нам, материалистам, очевидно, что психика основана на физиологии, возникает и вырастает из нее, – следовательно, прежде всего нужно изучать их взаимосвязь, а она сложнее и устойчивее системы автоматизирования, то есть рефлексов. А мы, биологи, оказались беспомощны, не подготовлены к изучению работы мозга. Оперировали почти мистическими понятиями – разум, воля, эмоции. Пока физики и математики не показали, не ткнули носом в кибернетику. Тогда и стало ясным, с какой наисложнейшей постройкой нам приходится иметь дело. Но создать институт, посвященный психофизиологии, еще не догадались, а надо бы несколько таких научных центров.

– А все же я дам пинка вашей самомнительной науке, – усмехнулся Андреев. – По части зависимости от среды, связи с ней и значения всего этого для психологии и морали она все забыла!

– Верно! Лучше сказать – не дошла, – помрачнел Гирин. – Однако уже поздно. Мне всегда интересно с вами, и я забыл о времени. Еще чашку испить, и пора шагать. Теперь я с капиталом и завтра же приступлю к исполнению одного долга.

Глава 3

Тусклые стены

Гирин вошел в длинный зал и огляделся. Да, вот в самом конце статуя Анны. Очищенная от многолетней пыли, с залеченными ранами-трещинами, заново отполированная и такая яркая на фоне тускло-серых стен. Только сейчас Гирин понял цель Пронина, сделавшего статую больше естественных размеров. Отсюда, с расстояния в несколько десятков метров, статуя вызвала особое впечатление. Не монументального величия – нет, изображение Анны было выполнено совершенно другим способом. Незнакомый с техникой скульптуры, Гирин мог назвать его для себя – живым. И в то же время размеры статуи как бы отделяли ее от обыденности, заставляли невольно сосредоточивать на ней внимание и воспринимать ее красоту.

Гирин вздохнул, смутно поняв что-то. Будто бы Анна сказала ему: «Это не я, а другая, та, которой ты служишь и к которой стремишься всю жизнь. Но я помогла тебе понять ее, в этом я – она...»

Пришло редкое для пожилого человека и обычное для юноши ожидание чего-то неопределенного, но очень хорошего. Ожидание это часто прилетает с весенним ветром, запахом дыма в морозной ночи, манит лунными бликами на широкой реке, шелестит в жестких травах степей...

На выставке в утренний час было мало народу, Гирин пошел через зал, прямо к кубическому пьедесталу статуи. Там стоял, опираясь рукой на угол подставки,

слегка сгорбленный человек в очках и пристально вглядывался в статую, порой так приближая лицо, что почти касался ее колен своим остреньким носом. Увидев подходившего Гирина, человек явно обрадовался собеседнику.

– Видали? Какова работа? – торжествующе ткнул незнакомец в изгиб колена.

Гирин, улыбаясь внутреннему ходу мыслей, согласился, что работа очень хорошая. Незнакомец оторвался от статуи, взглянул на Гирина и презрительно фыркнул.

– Я не про всю скульптуру, а про то, как отделана поверхность. Смотрите. – И незнакомец коснулся полированного дерева с нежностью, будто лица любимого человека. – Проведите пальцем, и вы почувствуете, увидеть может лишь скульптор, что она не гладкая, на ней сотни крохотных бугорков и ямочек. А для вас это зрительное впечатление живого тела.

– Разве не в каждой скульптуре...

– Конечно, нет. Сейчас никто уж так не работает, это старомодный прием. – И незнакомец снова издал короткое фыркание.

– Почему?

– Тому причин немало! И главная в том, что выполнение скульптуры в таком античном стиле – это нещадный, долгий труд. И глаз нужен, как у орла, чтобы художник мог увидеть все эти мельчайшие подкожные мускулишки и западинки, которые вам и кажутся живым телом. А для этого надо натуру высшего класса, с таким вот живым телом и кожей.

Создать, проявить, собрать красоту человека – такую, чтоб она была реальной, живой, – это большой подвиг, тяжело. Проще дать общую форму, в ней подчеркнуть, выпятить какие-то отдельные черты, отражающие тему, – ну, гнев, порыв, усилие. Скульпторы идут на намеренное искажение тех или иных пропорций, чтобы тело приобрело выражение, а не красоту. А изображение прекрасного тела требует огромного вкуса, понимания, опыта и прежде всего мастерства. Оно практически недоступно ремесленничеству, и в этом главная причина его мнимой устарелости. Красота всесторонняя, с какой стороны, и с каким настроением, и кто угодно ни смотри, все будет ладно, вот это и есть

пронинская женщина.

Человек в очках, очевидно знаток искусства, говорил громко. Разговор привлек нескольких посетителей.

– Позвольте, гражданин, – обратился к знатоку скульптуры один из круга слушателей, – вы говорите про всестороннюю красоту. И статую эту берете примером, так я вас понял?

– Так!

– А по-моему, по-простому, не то что выставлять, делать такие статуи ни к чему.

Знаток скульптуры воззрился на говорившего из-под очков и улыбнулся недоуменно и сконфуженно. Тот, упрямо наклонив голову, отчего собрались складки на плохо выбритом подбородке, встретил противника тяжелым взглядом глубоко запавших глаз.

– Дело ваше, – пожал плечами знаток. – К счастью, не все держатся таких представлений. И для огромного большинства людей красота человеческого тела – это большая радость и духовное наслаждение.

– Знаем мы это духовное наслаждение! Только портить молодежь, развращать. Для меня лично красота девушки или женщины нисколько не теряет оттого, что их неприличные места прикрыты лифчиком и трусиками.

На лице знатока скульптуры выразилось беспомощное отвращение. Тогда вступился Гирин. Он-то знал подобных людей со скрыто-поврежденной психикой, агрессивный параноидальный тип.

– То, что вы здесь высказываете, уважаемый гражданин, ошибка. Результат вашего неудачного жизненного опыта. Ручаюсь, что вас всегда точит удар, полученный в жизни, какая-то трещина в отношениях с женщиной, которую вы любили.

Нападавший побагровел и резко обернулся к Гирину, оттопыривая нижнюю губу.

– Вы что за отгадчик здесь такой? У цыганки учились?

– Не у цыганки, наука такая есть – психология. Можете прийти ко мне на прием, я объясню вам, откуда у вас такие дикие «художественные» вкусы. Держите их при себе! Помните, если вы, глядя на красоту нагой женщины, видите прежде всего «неприличные места» и их надо от вас закрыть, значит, вы еще не человек в этом отношении. – Аудитория встретила реплику Гирина одобрительно.

– Так вы хотите сказать, что я скот? – И противник, еще более разъярившийся, стал подступать к Гирину, угрожая «привлечь за оскорбление».

Гирин в упор взглянул на него, и грубая напористость собеседника точно смялась. Будто остановленный невидимой рукой, он отступил и скрылся за группой людей, выходившей из соседнего зала. Небрежные жесты и нарочито спокойный осмотр выставленного выдавали профессионалов-художников, чье показное равнодушие прикрывало острую ревность и глубокий интерес знатоков.

– Не понимаю: зачем вдруг выставили пронинскую вещь? – громко спросила тонкая узколицая женщина, проходя мимо статуи Анны. – Некрасиво, старо, нет мысли, грубый примитив.

– Согласен с вами, не стоило выставлять, – ответил шедший позади полный, хорошо одетый человек, – что миновало, то миновало. Наше время должно жить находками красоты иного порядка.

Прислушиваясь к разговору и оглядывая зал, Гирин обратил внимание на среднего роста девушку, стоявшую под большим панно. Ее прямая и в то же время свободная, нескованная осанка говорила о долгой дружбе со спортом, гимнастикой или танцами. Простое голубое платье, туго стянутое черным пояском, не скрывало фигуры, столь соответствующей гиринскому понятию прекрасного, что у того перехватило дыхание. Ее необычайно большие серые глаза, казавшиеся темными от ярких, как у детей, белков, вдруг встретились со взглядом Гирина. Девушка чуть улыбнулась, встряхнула короткими черными волосами. Гирин почувствовал немое ободрение. И, повинаясь ему, существовавшему, наверное, только в воображении, Гирин подошел к художникам.

– Я услышал ваши высказывания насчет скульптуры, – обратился Гирин к полному, с сильной проседью художнику, показавшемуся главой этой группы. – Может быть, вы поясните мне, что вы понимаете под красотой? Ваша соратница по искусству, – Гирин кивнул в сторону худенькой женщины, – заявила, что статуя некрасива, а мне она кажется очень красивой. Следовательно, я чего-то тут не понимаю?

Глава художников посмотрел на Гирина со снисходительным сожалением.

– Надо различать красоту и красоту, – назидательно сказал он. – Красивость – это то, что представляется красотой для людей обычных, с неразвитым вкусом, а красота... – Он многозначительно умолк.

– И все же?

– Как бы это яснее... – Несмотря на свой апломб, художник замялся. – Это... это отношение художника к жизни. Если оно светлое, с верой в счастье, с близостью к народу, к жизни, глубоко проникает в жизнь, то тогда получается красота.

– В произведениях художника?

– Безусловно!

– Я не про то спрашиваю. Есть ли в природе, вне художника, эта красота или красивость – все равно, или она получается только путем создания ее художниками, что, по-моему, идеалистическая выдумка?

Художник покраснел. Привлеченные спором, посетители подошли поближе.

– Конечно, красота существует в мире. Но для ее понимания нужен развитый вкус, нужно чутье художника. И его долг выявлять и показывать ее людям.

– Вот наконец-то! Значит, красота существует помимо нас, в объективной реальности, как говорят философы. А если так, то какие критерии есть у вас для определения красоты?

– Я вас не понимаю, – пробормотал художник, более уже не смотревший на Гирина с превосходством жреца искусства.

– Жаль. Тогда попробуем на примере. Вот ваш товарищ, художница... – Гирин вопросительно посмотрел на суровую критиканшу.

– Товарищ Семибратова, она график. – Гирин поклонился.

– Товарищ Семибратова сказала, что статуя некрасива. Почему? Объясните мне, каков ваш критерий для столь категорического суждения. Посмотрите, – он обвел рукой все возраставшую группу слушателей, – здесь, мне кажется, большинство находит статую красивой.

Слушатели закивали одобрительно. Художница поджала тонкие губы.

– Мне трудно говорить с человеком, не знающим наших художественных понятий. Но попробую. Образ женщины, чистый и светлый, должен быть лишен подчеркнутых особенностей ее пола.

– Почему? Это же ее пол?

– Если вы будете меня перебивать, я ничего не скажу! Женщина в новой жизни будет похожей на мужчину, тонкой, стройной, как юноша, чтобы быть повсюду товарищем и спутником мужчины, чтобы выполнять любую работу. А тут, смотрите, широкие, массивные бедра. Чтобы соблюсти пропорциональность, ноги пришлось утолстить, сделать сильнее, икроножные мышцы и валики мускулов над коленями. Как много здесь животного, ненужной силы. Зачем это в век машин? И вдобавок не просто силы, а силы пола, эротической. Вот, пожалуй, все.

– М-м! Во всяком случае, теперь я понимаю ход ваших мыслей. – Гирин посмотрел на художницу с уважением. – Могу я обобщить это так, что вы видите красоту такой, какой, по-вашему, она должна быть? И не принимаете того, что не согласно с вашими представлениями?

– Пожалуй, так.

– Но ведь тогда получается снова, что красота – это нечто исходящее из вас самой, из ваших идей и мыслей о том, какими должны быть люди и вещи. Значит, мы опять приходим к тому, что красота не существует вне художника и не является, следовательно, объективной реальностью? Красота относительна, и задача художника открывать ее новые формы – это глубоко ошибочное суждение. Откуда же возьмет ее художник – из собственной души только? Открывать законы красоты во всем бесконечном многообразии вещей и людей – вот формулировка материалиста-диалектика. Можно сказать по-иному: искать то из существующей вне нас объективной реальности, что вызывает в человеке чувство прекрасного.

– Не пытайтесь поймать меня вашей казуистикой, – вдруг рассердилась Семибратова. – Ведь могла я выбрать такой тип красоты, какой мне нравится, какой я действительно встречала!

– У меня нет никакой казуистики. Я ничего почти не знаю, это уж вы, художники, виноваты: где книги, просвещающие нас, обычных людей, ваших зрителей? Но все же – вот вы встретили такой тип красоты, какой вам нравится, потому что соответствует вашим идеям. А я встретил такой, какой мне нравится, – вот этот. – Гирин показал на статую. – Есть ли все-таки объективный критерий, кто из нас прав? Что говорят по этому поводу художественные светила?

– Ничего не говорят! Ну, конечно, анатомическая правильность, есть такая старинная книга одного аббата, там он собрал все пропорции...

– И объясняет их или только приводит?

– Не объясняет!

– Ну тогда все ни к чему! Но вот вы верно сказали: анатомическая правильность. Но что это такое? Кто может сказать? – резко бросил Гирин молчавшим художникам. – Или это, по-вашему, только эмпирическое соотношение частей?

– Так, может, вы нам откроете сию тайну, – язвительно буркнул главный из художников, – раз уж вы такой знаток.

– Я не знаток, я просто врач, но я много думал над вопросами анатомии. Если упростить определение, которое на самом деле гораздо сложнее, как и вообще

все в мире, то надо сказать прежде всего, что красота существует как объективная реальность, а не создается в мыслях и чувствах человека. Пора отрешиться от идеализма, скрытого и явного, в искусстве и его теории. Пора перевести понятия искусства на общедоступный язык знания и пользоваться научными определениями. Говоря этим общим языком, красота – это наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответствия и сочетания противоречивых элементов во всяком устройстве, во всякой вещи, всяком организме. А восприятие красоты нельзя никак иначе себе представить, как инстинктивное. Иначе говоря, закрепившееся в подсознательной памяти человека благодаря миллиардам поколений с их бессознательным опытом и тысячам поколений – с опытом осознаваемым. Поэтому каждая красивая линия, форма, сочетание – это целесообразное решение, выработанное природой за миллионы лет естественного отбора или найденное человеком в его поисках прекрасного, то есть наиболее правильного для данной вещи. Красота и есть та выравнивающая хаос общая закономерность, великая середина в целесообразной универсальности, всесторонне привлекательная, как статуя.

Нетрудно, зная материалистическую диалектику, увидеть, что красота – это правильная линия в единстве и борьбе противоположностей, та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и называли аристон – наилучшим, считая синонимом этого слова меру, точнее – чувство меры. Я представляю себе эту меру чем-то крайне тонким – лезвием бритвы, потому что найти ее, осуществить, соблюсти нередко так же трудно, как пройти по лезвию бритвы, почти не видимому из-за чрезвычайной остроты. Но это уже другой вопрос. Главное, что я хотел сказать, это то, что существует объективная реальность, воспринимаемая нами как безусловная красота. Воспринимаемая каждым, без различия пола, возраста и профессии, образовательного ценза и тому подобных условных делений людей. Есть и другая красота – это уже личные вкусы каждого. Мне кажется, что вы, художники, больше всего надеетесь именно на эту красоту второго рода, пытаетесь выдавать ее, вольно или невольно, за ту подлинную красоту, которая, собственно, и должна быть целью настоящего художника. Тот, кто владеет ею, становится классиком, гением или как там еще зовут подобных людей. Он близок и понятен всем и каждому, он действительно является собирателем красоты, исполняя самую великую задачу человечества после того, как оно накормлено, одето и вылечено... даже и наравне с этими первыми задачами! Тайна красоты лежит в самой глубине нашего существа, и потому для ее разгадки нужна биологическая основа психологии – психофизиология.

Художники смотрели с удивлением на неожиданного оратора.

– Значит, вы считаете, – заговорила Семибратова, – что эта скульптура...

– Есть красота первого рода – безусловная, – подтвердил Гирин.

Художница пожала плечами и оглянулась на собратьев. Полный седоватый художник сделал шаг к Гирину и протянул руку. Тот назвал себя.

– Рад познакомиться! Мне кажется, вы заинтересовали нас. Конечно, не ждите, что мы сразу с вами согласимся, а все же интересно. Слушайте, – вдруг оживился он, – не могли бы вы сделать нам доклад на эту тему, видно, что вы размышляли о таких вещах, о каких естественники обычно не думают. Ну, скажем, так: «Красота как биологическая целесообразность»? Насколько я понял, вы собираетесь расшифровать ее так?

Гирин думал недолго.

– Почему бы нет? Назначайте время и место. По четным дням я могу с утра до трех часов, а в нечетные – только вечером.

Они сговорились о встрече в одном из залов Дома художников.

Стоявшие вокруг посетители зашумели, прося разрешения прослушать завершение интересной дискуссии. На их счастье, седоватый художник оказался одним из членов совета дома и пригласил всех на будущий доклад.

Гирин попрощался с недавними врагами и стал искать глазами девушку в голубом. Он увидел ее на том же месте под панно и направился к ней, внутренне опасаясь, что она скроется в соседнем зале. Девушка шагнула ему навстречу. Гирин улыбнулся ей, но ее лицо осталось серьезным.

– Я оправдал ваши надежды? – полушутливо спросил Гирин.

– Они не имеют значения. Но я очень, очень рада. Знаете, как хорошо бывает, когда думаешь и чувствуешь и не у кого спросить, а вдруг все оказывается верным. И от этого все становится светлее и ближе!

– Хорошо знаю! – воскликнул Гирин.

– Я приду на ваш доклад, – произнесла она тоном полувопроса, полуутверждения.

– Обязательно приходите! Но давайте сначала познакомимся. – Гирин назвал ее имя и выжидательно взглянул на девушку.

– Меня зовут Сима... Серафима Юрьевна Металина, если хотите полное звание. Я преподаватель физкультуры, ну и сама занимаюсь спортом. Только и всего. Никакого отношения к искусству.

– Может быть, и хорошо. Иногда трудно иметь дело с профессионалами. Слишком много предвзятого... Но вы хотите что-то еще сказать?

– Мне надо бы еще спросить вас, но вы, должно быть, торопитесь? Да и мне скоро на вечерние занятия.

– Так пойдемте. Я провожу вас, если разрешите.

В гардеробе Гирин еще раз с нескрываемым удовольствием поглядел на девушку, когда она отошла к зеркалу, чтобы поправить волосы. Как быстро она успела это сделать: два движения гребнем, легкое прикосновение пальцев, и какие-то незримые для Гирина дефекты были устранены.

Давно не испытанная отрада холодком прошла по его спине. Плавные и в то же время быстрые движения Симы, ее гордая осанка и открытый внимательный и веселый взгляд – казалось, девушка эта явилась из будущего. Действительно, Сима не стеснялась и не прятала свою высокую грудь, стройные ноги и крутые бедра. В свободных и гибких движениях ее сильное тело приобретало ту независимость, без которой подчас трудно живется женщинам. Физическая красота девушки сливалась с ее душевной сущностью, растворялась в ней, странным образом теряя свой вызывающий оттенок.

Сима надела пальто и берет, придавший ей мальчишески независимый вид. Гирин сразу оценил преимущества лица Симы. К такой головке средиземноморского типа, с мелкими, твердыми чертами, большеглазой из-за

правильности профиля, гордой шеи и высоко поставленных ушей, с большим расстоянием от них до глаз, пойдет решительно все – любая прическа, любая шляпка, чем и пользуются, например, итальянки... Они вышли во всегдашнюю людскую толчею Кузнецкого Моста.

Налетевшие порывы ветра разъединяли их, и беседа не клеилась. Чтобы быть поближе к девушке, Гирин взял ее под руку. Сима легко приноровилась к его походке и пошла танцующим широким шагом, с упругим и четким ритмом. Гирину невольно захотелось тоже войти в музыку этой походки-танца. Он зашагал, стараясь ставить и поворачивать на ходу ступню так, как это делала Сима, оступился и засмеялся. В ответ на ее безмолвный вопрос Гирин признался в своем смешном поступке. Сима чуть покраснела, нахмурилась и, к огорчению Гирина, пошла обычной мелкой походкой, какой женщины ходят на каблуках. Только сейчас Гирин заметил, что ее маленькие туфли – с высокими «гвоздиками» и, следовательно, она несколько меньше ростом, чем он думал. Девушка, помолчав, сказала:

– Я всегда так хожу, когда случается радость. Только что смешного в этом?

Гирин поспешил уверить Симу, что ему показался смешным он сам. Она возразила:

– Хоть бы и вы сами? Разве не бывало с вами так, что все тело поет? Тогда невольно идешь, будто танцуешь.

– А вы любите танцевать? – уклонился Гирин от прямого ответа.

– Очень. А вы?

– Ну какой из меня танцор! Даже смолоду. От предков и родителей костяк мне достался тяжелый. Было на что опираться могучей силе русского землепашца. А у меня пропадает зря, и не могу порхать в танце.

Сима звонко расхохоталась, откидывая назад голову. Тренированный глаз анатома отметил абсолютную правильность ее зубов, дужки которых были словно вычерчены циркулем.

– Такое категорическое отрицание? Боитесь, что рок-н-ролл приглашу танцевать?

– А вы разве умеете?

– О каком в газетах пишут, с нарочитым выламыванием, нет. Но можно и рок, и все, что угодно, станцевать красиво. Иногда так и потянет на головоломную штуку, если партнер хорош, и разойдешься, как ветром понесет сердце и ноги.

Гирина слегка уязвили слова «когда партнер хорош», он-то никак не мог считать себя «хорошим партнером».

– Это хорошо: ветром понесет сердце и ноги! И верно!

– Ага, вы доктор и считаете, что верно!

– Не доктор, а врач. Доктор – это тот, кто имеет степень доктора медицины. По старинке врачей зовут докторами, когда заболевают, из заискивания, перешедшего в обычай.

Сима снова засмеялась. «Как веселый заяц в фильме «Бэмби», – подумал Гирин.

– Человеку нужно чередовать периоды покоя или неподвижности с энергичным движением, и танцы в ритме музыки имеют очень серьезную физиологическую основу, – продолжал Гирин, – это потребность, а не прихоть. Людей, не занятых физической работой, привлекают танцы наиболее неистовые, а тяжело работающих – плавные. Распространение разных рок-н-роллов, мамбо и твистов в Европе – это закономерность, результат роста городского населения и числа молодежи, не занятой активным физическим трудом. Эти танцы – явление почти социальное. Впрочем, ничего плохого в акробатическом танце не было бы, если избегать гнусного кривлянья. Вообще-то куда как лучше для молодежи гимнастика, особенно художественная для девушек: какая красота!

Сима улыбнулась, вся засветившись.

– А вы молодец. Можно вас так назвать? И я рада, что познакомилась с вами. Мне казалось, что так и не бывает: я чувствую, а вы говорите про это, да еще так

просто и ясно! И вообще...

– И вообще?.. – переспросил Гирин.

– Вообще с вами просто. И хорошо. А то чаще бывает... – Сима умолкла, смотря перед собой, и только тонкие морщинки в уголках ее изогнутых губ выдавали память горьких минут.

Гирин осторожно сжал двумя пальцами ее тонкое запястье.

– Все понимаю. Но как быть? Живешь среди людей, таких разных и по большей части худо воспитанных.

– О да! Вы даже не подозреваете, наверное, как много людей, мужчин, считают, что достаточно нескольких нежных глупостей, чтобы покорить незнакомую девушку, только что встреченную на улице. Иногда так устаешь от этого, особенно летом, когда ходишь...

– Легко одетая, это ясно. И от себя добавлю: есть немало людей, у которых красота вызывает неосознанную злобу, те стремятся оскорбить и унижить красивую девушку, бросить вслед грубое слово.

– Как вы все это знаете? Вы ведь не женщина.

– Зато психиатрия – одна из моих любимых наук. Я как-нибудь расскажу вам о том, что руководит поступками людей, есть объяснение почти для всего. Все закономерно.

– Я буду вам так благодарна! Но вот я и пришла. Большое вам спасибо. И до встречи у художников.

– Одну минуту! – Гирин вырвал листок из записной книжки, написал свой телефон и протянул девушке. – Мало ли, вдруг случится надобность. С врачом, тем более с хирургом, знакомство полезно.

Сима взглянула на него искоса и лукаво своими громадными серыми глазами.

– А почему вы не спрашиваете моего телефона или адреса?

– Чтобы вы были свободны – от меня. Захотите – позвоните мне сами, нет так нет. А то я могу не угадать и оказаться навязчивым.

– А не чересчур ли вы скромны, проницательный психиатр? – И она вдруг коснулась его виска теплой ладонью.

Ласка была так мгновенна, что Гирин потом спрашивал себя: не показалось ли ему? Сима повернулась и исчезла между неуклюжих бетонных колонн за воротами школьного сада. Гирин постоял, глядя в пространство с ясным ощущением драгоценной неповторимости случившегося. Его буйная фантазия представила судьбу в виде улыбчивой греческой богини, благосклонно кивнувшей ему из глубины триумфальной арки, в какую превратились железные стандартные ворота. Гирин усмехнулся и пошел прочь. Неисправим! Сколько раз та же судьба представлялась ему лесом мрачных тяжелых колонн, между которыми витала тьма, сгущавшаяся в непроницаемый мрак! Эти давящие колонны в беспросветной темноте всегда служили для Гирина образом, отражавшим его собственные неудачные поиски, подобные блужданию между каменными столбами. Но как мало надо человеку со здоровой психикой и телом: чуть повеяло ветром надежды на хорошее, едва соприкоснулся с прекрасным – и возрождается неумная сила искания и творчества, желание делать что-то хорошее и полезное, оказывать людям помощь. Вот в чем величайшая сила красоты. «Красавица – это меч, разрубающий жизнь», – гласит древняя японская поговорка. Ей вторит среднеазиатская загадка: «Что заставляет злого быть самым злым, доброго – самым добрым, смелого – самым смелым?» И ответ ее прост: «Красота!» Понимание этого мы порядком утратили – в нашем разобщении с природой.

– Хватит на сегодня! – Гирин выключил энцефалограф. Широкая лента миллиметровой бумаги, ползшая по столбу прибора, замерла. Перья, вычерчивавшие ряды угловатых записей биотоков от разных участков мозга, прекратили свои колебания. Лаборантка Вера нажала массивный рычаг и отворила толстую дверь камеры, изолированной от света, звука, электрических колебаний и магнитных влияний, зачерненной и заземленной. В глубоком кресле сидел студент-доброволец, подвергавшийся опыту. Лаборантка растянула пряжку тугой резиновой ленты, которая удерживала на голове испытуемого сетку с двадцатью электродами, посылавшими пучок разноцветных проводов через стену камеры в огромный энцефалограф – прибор,

записывающий биотоки мозга. Студент почесал раздраженную электродами голову, пригладил волосы и весело вскочил с кресла. Извинившись, он сладко потянулся.

– Ура! Закончили. Признаться, надоело! Какой сегодня опыт по счету, Верочка?

– Пятьсот семьдесят четвертый, – отозвалась лаборантка.

– И сколько будет еще, Иван Родионович?

– Наверное, до семисот. Как скажет профессор.

– Признайтесь: вам не осточертело это топтание на месте?

– Почему топтание? Даже в отрицательных данных, которые получаются у нас, есть смысл.

– Так-то так, – уныло согласился студент. – А все же хотелось бы чего-то потрясающего, совсем нового. И скорого. Ведь столько в нашей науке возможностей, непроторенных путей. И вы, я вижу, знаете много такого, о чем мы даже не получили представления на биофаке. А должны выполнять скучную, бескрылую работу, ведь старик наш весь в прошлом!

– Разве я не говорил вам, что в науке могут быть два пути – путь смелых бросков, догадок, с отступлениями, провалами и разочарованиями и путь медленного продвижения, когда постепенно нащупывается истина. И оба полезны, и один не может обойтись без другого. Без таких вот тяжеловозов науки, тянущих громадный воз точных фактов, как наш профессор. Уважайте их, Сережа, это прочные опорные камни!

– Так-то так, – буркнул студент.

В углу лаборатории зазвонил телефон, и лаборантка подала трубку Гирину.

– Иван Родионович, дорогой, как хорошо, что я вас застал, – услышал он громкий голос Андреева. – Вы мне очень нужны. Помогите. Может, приехали бы, а? Катя еще не вернулась, но я чаем уважу... Поговорить надо одному товарищу (он

назвал имя известного геофизика) с умным врачом. Неофициально, так сказать, без профессиональной церемонии, как ученому с ученым. А?

Гирину не хотелось ехать после одиннадцати часов работы, но он не мог отказать Андрееву.

И, сидя в знакомом глубоком кресле у курительного столика кашмирской работы, он выслушал трагическую повесть о нелепой судьбе сына геофизика. Не было более талантливого математика на всех курсах инженерно-физического института. И вдруг красивый и здоровый юноша, способный музыкант, шахматист, заболел. Вялость, быстрая утомляемость и боли в правом боку быстро сменились расстройством походки, плохой координацией движений рук, сильными головными болями. Долго искали причину, юноша перекочевал уже в третью больницу, и ему становилось только хуже. Но теперь...

– Погодите минуту. Кажется, я догадываюсь. Наследственный сифилис исключен был сразу? И мозговая опухоль тоже? – Профессор геофизики молча кивнул.

– Тогда, значит, нашелся умный врач и велел сделать анализ мочи на металлические соединения и обнаружил...

– Да, да, конечно, медь!

– Следовательно, вильсонова болезнь. – Настроение Гирина заметно упало.

Геофизик встал, прошелся по комнате и вдруг решительно подошел к Гирину. Тот понял, что сейчас последует именно тот вопрос, ради которого просили его приехать.

– Болезнь Вильсона – отчего она бывает? Только от дурной наследственности?

– Только наследственность тому виной. Но вы информированы неправильно. Это не дурная наследственность, а случайность наследственности.

– Разве это не одно и то же?

– Разница фундаментальная! Дурной наследственностью можно назвать повреждение наследственных механизмов какой-либо болезнью. В результате ряд дефектов, преимущественно в нервной системе, как, например, маниакально-депрессивный наследственный психоз, амауротический и монголизмический идиотизм, или же в крови, как талассемия. А есть болезни, которые обязаны случайному разнообразию во всей чудовищной сложности развития нового организма. Это не болезни родителей или каких-либо предков, не сочетание их поврежденных наследственных устройств, а неудачная комбинация. Ведь и совершенно здоровая наследственность дает естественные колебания в биохимическом отношении. Мы еще только начинаем нащупывать эти различия. Например, часть людей не ощущает никакого особенного вкуса в препарате, называемом фенилтиоурен, а другая часть чувствует его нестерпимо горьким. Какие-то одна-две молекулы не сойдутся точно в развитии спиральных цепочек наследственных механизмов, и в новорожденном организме выпадает крохотная, нами пока не улавливаемая деталь. Отсутствие этой детали может проявиться не сразу, ребенок вырастает вполне нормальным, и вдруг...

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ivan-efremov/lezvie-britvy-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)